

Алексей Печкин-Шаурбин

Сувар



Повесть о том, как сгорела Булгария



Сувар. История Чувашского народа через повесть

Алексей Печкин

**Сувар. Повесть о том,
как сгорела Булгария**

«Автор»

2026

Печкин А. В.

Сувар. Повесть о том, как сгорела Булгария / А. В. Печкин — «Автор», 2026 — (Сувар. История Чувашского народа через повесть)

Осень 1236 года. Ятман вырос в лесу, в селе, которое ушло с Волги ещё до его рождения. Великого города и отцовской войны он не видел: для него это предание, а не память. Отец — староста, и на гвозде у него висит позолоченная личина, которую не надевают. Пока в лесу торгуются из-за соли, в Великом городе старый казначей считает хлеб трижды, а в степи десятник, которого когда-то пересчитывали у стола выкупа, снова садится в седло. Страна сгорит. Ятману достанется не меч отца, а его счёт — и люди, которых надо провести по льду.

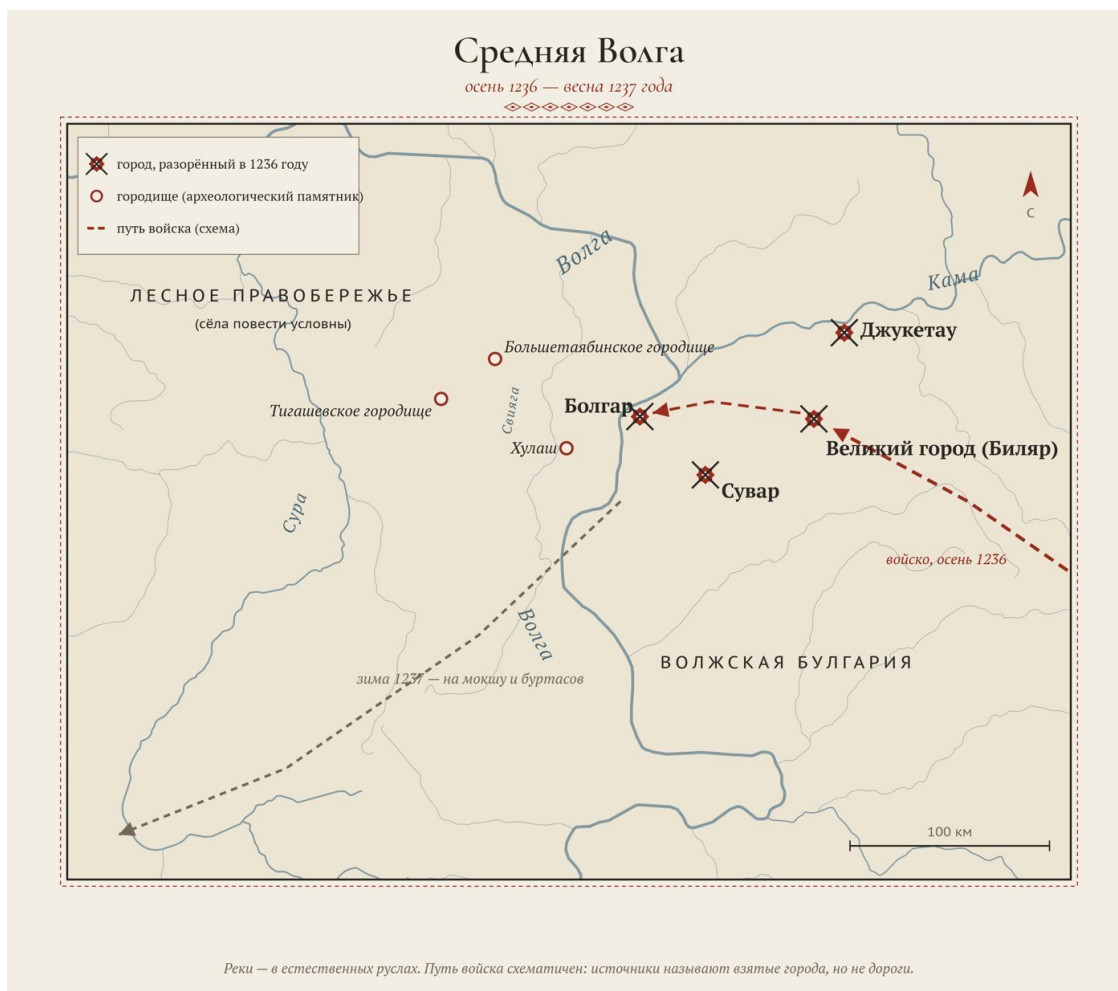
Содержание

Карта	5
Часть I. Тринадцатое лето	6
Глава 1. Дуб и зарубки	6
Глава 2. Старший сын	13
Глава 3. Двадцать шестой дафтар	21
Глава 4. Зимняя справа	28
Глава 5. Соль вчетверо	35
Глава 6. Сторожа у Яика	42
Глава 7. Последний двор	49
Карта	57
Часть II. Зов	58
Глава 8. Недостроенная сажень	58
Глава 9. Гонец	66
Глава 10. Гонцы	74
Глава 11. Две тысячи наконечников	82
Глава 12. Покорность и огонь	89
Глава 13. Мимо дуба	96
Глава 14. Мӓн чӹк «Великое моление»	103
Глава 15. Первая кровь	112
Ч	120
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Алексей Печкин

Сувар. Повесть о том, как сгорела Булгария

Карта



Средняя Волга, осень 1236 — весна 1237 года. В повести Биляр зовётся Великим городом; лесные сёла на правобережье условны.

Часть I. Тринадцатое лето

Глава 1. Дуб и зарубки



Ятман. Щёнь Юман, шоль 1235 года

Мерились до росы, пока трава у корня была мокрая и стоять босиком было холодно.

Ятман стал спиной к стволу, упёрся затылком и вытянулся так, что заныло под коленями. Отец положил ему ладонь на макушку, придержал и повёл ладонь к коре. Ладонь была сухая и тяжёлая, как крышка от кадки.

— Не тянись, — сказал отец. — Я же вижу.

— Я не тянусь.

— Пятки.

Ятман опустил пятки.

Отец достал нож и резанул по коре там, где остановилась ладонь. Зарубка вышла короткая, в палец. Под корой было светлое и сырое, и оттуда сразу выступило мокрое.

Зарубок на стволе было тринадцать. Они шли снизу вверх неровной лесенкой: старые заплыли чёрным валиком, новые ещё белели. Нижняя сидела у самой земли, на две ладони от корня, и была не Ятманова. Вторая была его: отец говорил, что его, неделю от роду, принесли сюда в пелёнке, приложили к стволу и отметили, докуда пятки, и что он орал на весь масар«кладбище».

— Первая чья? — спросил Ятман. Он спрашивал это каждый год.

— Ничья. — Отец вытер нож о штанину. — Первая — та осень.

Дуб посадил старый Ахтупай. Посадил в первую осень, жёлудем из кармана, у края нового поля, и в ту же зиму умер, и столб его на масаре стоял первым в ряду, с плоским верхом,

дубовый. Дуб вырос из жёлудя, как растут все дубы, медленно и криво, и теперь был выше Ятмана на голову. В прошлое лето он был выше на полторы, а в позапрошлом на две.

— Он медленно, — сказал Ятман.

— Он двести лет растёт. Ему торопиться некуда.

— А мне?

— А тебе грабли, — сказал отец.

* * *

Сено косили на дальнем лугу, у поворота реки, четырьмя косами в ряд.

Косили Урхас, Бажут, эрзянин по прозвищу Долгий и Гордята. Гордята был русский, с русского конца, плотник, и косил по-своему, коротким частым замахом, и над ним смеялись каждое лето, и каждое лето он выкашивал не меньше других.

— Ты траву пилишь, — говорил Долгий.

— А ты её пугаешь.

— Я её кладу.

— Ты её роняешь, — говорил Гордята. — Это разное.

Когда Бажут, шедший первым, останавливался править косу, останавливались все четверо, и над лугом шёл ровный звук в четыре бруска. Ятман знал много звуков, но этот был лучший, потому что после него становилось особенно тихо.

Ятман носил воду. Ведро было деревянное, с одной дужкой, и он переставлял его через каждые двадцать шагов и считал шаги, чтобы не думать про руки.

— Мальчик, — сказал Курак, не разгибаясь. — Ты меня третий раз обносишь.

Кураку было за шестьдесят. Косить он давно не косил, а ходил по лугу с оселком и точил чужие косы, и ему это шло больше, чем косить. Он взял ковш обеими руками, выпил, слил остаток себе на затылок.

— Теперь от меня считай, — сказал он. — Я тут самый старый. Мне и первому.

Три села стояли на третьей реке тринадцатый год. *Ѕёнь Юман* «Новый Дуб», где жил Ятман, — сорок шесть дворов на склоне, в три кучки, без улицы, так что чужой плутал, а свой шёл напрямик через задворки. *Хуряйлях* «Березняк», девятнадцать дворов, в полудне ходу вниз по реке, за бором. И выселок *Ѕырма пуҫ* «Начало оврага», семь дворов у истока лесного оврага, в дне ходу по тропе, где жили те, кому и в селе было тесно. Семьдесят два двора. Это число Ятман знал давно, раньше, чем узнал, что оно число: так отец говорил вечерами, как другие говорят «ну, спать».

Внизу, под склоном *Ѕёнь Юман*, был ключ, за ключом кузня, за кузней овраг, а за оврагом, на солнечной стороне, где липы, стояла пасека Салиха. Салих был болгарин, широкий, медленный, говорил по-суварски врасстяжку, и у него было восемь колод и внуки, и он говорил, что это не считая пчёл.

В полдень на луг пришёл отец. Он обошёл покос по краю, встал у копён и стал считать, шевеля губами и поворачивая голову от копны к копне.

— Двадцать две, — сказал он и сел на валок.

— Двадцать три, — сказал Урхас. — Ты дальнюю не взял, за кустом.

Отец посмотрел за куст.

— Двадцать три, — сказал он и больше ничего до вечера не сказал.

* * *

Отец колол щепу за избой, у поленницы.

Он всегда колол её сам, хотя щепу на растопку обыкновенно колют дети. Колол он её маленьким топором на короткой рукояти. Рукоять была вязовая, тёмная от руки, с обрубленным концом и с двумя дырками от заклёпок, в которые ничего не было вставлено. Лезвие сидело на ней простое, кузнечной работы, материной, и было посажено туго, на клин.

Ятман сидел на чурбаке и собирал щепу в охапку.

— Заклёпки зачем? — спросил он.

— Так вышло.

— От чего?

Отец поставил полено торцом и ударил. Полено развалилось.

— От другого железа.

— Оно где?

— Нет его.

— Потерял?

— Отдал. — Отец положил сверху горсть щепы. — Держи ровнее, рассыплешь.

Ятман нёс охапку в *лаç* «летнюю кухню» и всю дорогу думал, кому можно отдать железо и ничего за это не получить, и решил, что это был долг.

Личина висела в *лаç* на заднем столбе, на своём гвозде.

Она висела там всегда, и на неё никто не смотрел. Рядом висели хомут, прошлогодний серп и связка лыка. Летом в *лаç* варили, и личина двенадцать лет была в дыму, и снизу по ней шёл жирный налёт, который мать раз в год отскабливала ножом.

В *лаç* никого не было.

Ятман сложил щепу у очага, снял личину с гвоздя двумя руками и подержал. Она была тяжелее, чем он помнил, — он помнил каждый раз, и каждый раз она была тяжелее. Снизу холодная, сверху тёплая, там, где её нагрело через крышу. Изнутри войлок, и войлок пах старым и немного бараньим. Позолоты на ней не было. Серое пятно шло через всю переносицу, от прорези до прорези, и золото осталось только ободком, тонко, по краю прорезей, и там, где ремешок.

Он надел её.

Личина села на нос и на лоб и болталась, и он придержал её снизу ладонью. Мир стал узкий, в две полосы. Край стола, угол очага, кусок двора, и в нём куриная спина. Чтобы увидеть больше, надо было поворачивать всю голову, а не глаза, и от этого сразу уставала шея.

Он повернул голову вправо. Потом влево.

Мать стояла в дверях.

Она ничего не сказала. Вошла, взяла личину с двух сторон, сняла — он сам поднял подбородок, чтобы не задело, — и повесила обратно на гвоздь, ремешком, как висела. Потом сняла с полки миску, поставила на стол и стала перебирать крупу.

— Она велика, — сказал Ятман.

— Велика, — сказала мать.

Больше об этом не говорили ни она, ни он.

* * *

Серп Ятману дали на девятый день, на зажин.

Рожь в тот год поспела рано, и её пошли зажинать с верхней полосы, где суше, всем концом. Мальчишки пришли тоже: Бачман — потому что его звали, Кёвёрке — потому что шёл Бачман.

Бачман был сын Бажута и Валдавы, из эрзянского конца. Он был старше Ятмана и выше на полторы головы, родился в ту самую осень, в ночь после большой битвы, и назван был по кипчаку, который в той битве лёг первым. Он дрался со всеми, кто был ниже, и с половиной тех,

кто был выше, и всегда первым лез туда, куда не звали. Кёвёрке был сын Алмаса и Кёмёлпи, родился уже на третьей реке, в одну осень с Ятманом, и заикался на первом слове, а дальше говорил ровно. Считал он быстрее всех в трёх сёлах, быстрее Ятмана, и говорил числа так, будто читал их где-то сбоку, а потом отворачивался, потому что над ним за это смеялись.

Сerp был старый, зазубренный по всему лезвию, как им и положено, с клёпкой у рукояти. Отец принёс его из лас, снял с гвоздя рядом с личиной, обтёр полкой и подал рукоятку вперёд.

— Держи так, — показал он. — Не тяни к себе. Ведёшь и подбираешь.

— Рано ему, — сказала Унавий.

Она сидела на меже и вязала пучки травы в узлы. Она всегда что-нибудь вязала на меже, пока другие работали. Она была марийка, ведунья на три села, и все три села были ей должны.

— Рано, — согласился отец.

— Ну и?

— Жать некому.

Ятман взял горсть, как показывали, и повёл. Стебли не резались, а рвались с сухим треском, и горсть легла на левую руку, тяжёлая и колючая, и запахла пылью. Он прошёл десять шагов, потом ещё десять. Рожь стояла ему по грудь, в ней было жарко, и голоса стали далёкие, потому что все нагнулись.

На двадцатом шаге он взял горсть слишком высоко и подтянул серп к себе.

Сerp вошёл в подушечку указательного пальца, вбок, и сначала ничего не было, а потом стало.

Ятман выпрямился и не выпустил серп. Он держал руку на весу и смотрел, как по ладони вниз идёт тёмное.

— Унавий, — сказала мать с края полосы и не подошла.

Унавий встала с межи, не торопясь, взяла его руку, посмотрела, отвела большим пальцем край.

— До кости далеко, — сказала она.

Она полила палец из баклажки, приложила лист из тех, что вязала, обмотала тряпицей и затянула узел сверху.

— Это у всех, — сказала Унавий. — У кого не так, тот не жал.

— Больно, — сказал Ятман.

— Больно. Держи выше сердца, пока идёшь. Потом опустишь.

Отец стоял в трёх шагах и не подошёл.

— Серп отдашь? — спросил он. — Или сам понесёшь?

Ятман понёс сам.

До обеда он сжал полосу в шесть шагов шириной и в полста длиной. Бачман сжал втрое больше и криво, и Урхас велел ему идти обратно и подбирать. Кёвёрке жал медленно и ровно и к обеду сказал, сколько снопов будет со всей полосы. Никто не спросил, откуда он взял. Это знали и так.

* * *

Молодняк держали на дальнем лугу, за оврагом, с весны до первых холодов.

Там паслись телки, бычки и нетели со всех трёх концов — двадцать шесть голов, и при них днём ходил пастух, старик-пастух из Хуря́нлăх, которого все звали просто пастухом, а ночью у стада сидели подпаски, по двое, с горшком углей. Взрослые мужики, кто гонял коней в ночное, стояли в другом конце луга, у воды, в полуверсте, и там горел свой костёр.

В ту ночь у молодняка сидели Ятман и Бачман.

Им дали горшок с углями, две палки, кусок хлеба на двоих и сказали: огонь не давать гаснуть, стадо от леса держать, к оврагу не пускать. Пастух лёг в шалаше на опушке и захрапел раньше, чем они разложили огонь.

Огонь разложили между стадом и лесом, как велели. Бачман сразу стал рассказывать, как он пойдёт с Кужеватом на лося, и как Кужеват даст ему копье, и как лось побежит на него, а он не отступит. Ятман подкладывал ветки и слушал вполуха. Он считал стадо.

Стадо лежало тёмными кучами на выкошенном, и считать его в темноте было плохо: голова к голове, спина к спине. Он сосчитал двадцать четыре. Потом двадцать шесть. Потом встал, обошёл по краю, от оврага до опушки, и сосчитал ещё раз, трогая глазами каждую спину. Двадцать шесть.

— Ты чего ходишь? — спросил Бачман.

— Считаю.

— Их днём считали.

— Днём считали, — сказал Ятман и сел.

Луна вышла поздно, половинная, и луг стал серым. Над рекой лёг туман. У дальнего костра кто-то засмеялся, и звук пришёл через луг не сразу.

Бачман замолчал на полуслове.

Ятман посмотрел туда, куда смотрел он. На опушке, в чёрном, между двух берёз, горели два огня. Не красные, как угли, а зелёные, и низко, у самой земли. Потом рядом загорелись ещё два. Потом первые пропали и появились в другом месте, ближе.

Стадо заворочалось. Одна телка встала и замычала коротко, и за ней встали ещё.

— Волки, — сказал Бачман. Сказал весело, как говорят «лось».

Он схватил палку и побежал.

Ятман не успел ничего сказать. Бачман бежал прямо на опушку, на огни, махал палкой над головой и орал — не слова, а просто так, во всё горло, как орут на гусей. Огни погасли.

Ятман упал на колени у горшка.

Руки делали сами, и он потом не помнил, как. Он вывалил угли на старое кострище, сунул сверху сухой травы из-под себя, веток, ещё травы и дул, пока трава не взялась, и тогда подкинул всё, что было, — весь хворост, какой натаскали на ночь. Огонь поднялся в рост. Стало светло, и за светом стало темнее, чем было.

Стадо сбилось в кучу у огня, спиной к лесу. Бачман орал на опушке. Где-то там, в темноте, трещало.

Ятман встал и стал считать.

Считать было легко, потому что стадо стояло кучей и огонь светил на спины. Он считал вслух, шёпотом, и тыкал пальцем в воздух, как отец.

— Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять.

Двадцать шестой не было.

Он сосчитал ещё раз, начав с другого бока, и вышло двадцать пять.

* * *

Он понял, где она, раньше, чем подумал: у оврага. Стадо всегда тянуло к оврагу, там трава была сочнее, и туда ему и велели не пускать.

Он сунул в огонь толстую ветку и держал, пока конец не разгорелся. Потом взял её, как берут головню, — за холодный конец, от себя, — и пошёл.

Бачман всё орал на опушке. До дальнего костра было полверсты, туда можно было крикнуть. Ятман не крикнул. Он не знал, что кричать: что одной нет? Его бы спросили — какой, — и он бы не знал, какой.

За светом костра было черно. Потом глаза привыкли, и стало серо. Луг шёл под уклон к оврагу, трава тут была нескошенная, мокрая, по пояс, и ноги сразу промокли. Головня трещала и роняла искры, и от неё было видно на три шага вокруг, а дальше ничего.

Край оврага он увидел, когда чуть не упал в него.

Внизу, по склону, в лопухах, что-то белело и дышало. Он спустился боком, держа головню повыше, и увидел нетель — рыжую, с белой звездой, Урхасову, кажется, или Долгого — она лежала на боку, подогнув передние ноги, а задняя левая торчала в сторону не так, как торчат ноги. Нетель повернула к нему голову и замычала негромко, будто спросила.

Ятман стал над ней.

Он не знал, что делать дальше. Поднять её он не мог. Тащить — тоже. Уйти за взрослыми — значило оставить её одну.

По краю оврага, наверху, прошло что-то. Он не увидел, а услышал: траву раздвинули и отпустили. Потом с другой стороны. Потом он увидел огни — два, над собой, на краю. Они стояли и смотрели. Потом перешли на два шага вбок и опять встали.

Он поднял головню выше и повернулся к ним лицом. Огни отошли. Он повернулся к нетели — огни появились за спиной, он это знал, не видя. Он повернулся обратно.

Так он и стоял. Головня горела. Он перехватил её ближе к огню, потому что холодный конец кончался, и держал, и искры падали ему на рукав, и он их не стряхивал, чтобы не опускать руку. Нетель дышала у его ног, шумно, с присвистом. Огни ходили по краю оврага, то два, то четыре, то шесть, и он считал их, потому что больше ему делать было нечего: два, четыре, шесть — трое. Трое волков.

Он не знал, сколько прошло. Головня стала короче в два раза. Рука, которой он её держал, перестала быть его рукой и была просто рука, как чужая, и в ней был огонь.

Потом наверху закричали людскими голосами, и затрещало, и огни пропали сразу, все шесть. По краю оврага замелькали факелы. Кто-то свистнул. Бачман орал: «Здесь! Он здесь где-то!» — и голос у него срывался.

Первым вниз съехал Урхас, с колом. За ним Долгий. Урхас посветил на нетель, потом на Ятмана.

— Ты чего не кричал? — спросил Урхас.

Ятман подумал.

— Я считал, — сказал он.

Урхас посмотрел на него, ничего не ответил и крикнул наверх, чтобы несли жерди.

* * *

Отец пришёл на луг утром, когда солнце встало над лесом.

Нетельвытащили из оврага на жердях ещё ночью и положили у костра на солому, и к утру она стояла на трёх ногах, а четвёртую держала на весу. Пастух ходил вокруг и говорил, что за сорок лет не видел, чтобы летом волк подходил к стаду. Летом у волка корма полон лес. Зимой — да. Осенью — бывает. А летом не ходят.

— А эти пришли, — сказал Долгий.

— Эти пришли, — сказал пастух и сплюнул.

Отец обошёл стадо. Он шёл медленно, от оврага к опушке и назад, и шевелил губами. Потом сказал:

— Ровно.

Потом подошёл к нетели, присел и взял её ногу выше скакательного сустава. Нетель дёрнулась, и Урхас навалился ей на шею. Отец ощупал ногу пальцами, как мать щупала полосу железа, — медленно, на всю длину.

— Вывих, — сказал он. — Кость цела. Порвана сверху, по коже. Заживёт.

Он огляделся, куда положить топорище, которое держал в руке — пришёл он прямо от полонницы, — и увидел Ятмана.

— Подержи, — сказал отец и сунул ему топорище.

Ятман взял.

Отец взялся за ногу двумя руками. Урхас держал голову, Долгий держал круп. Отец сказал «раз», и нетель заорала, и что-то внутри ноги стукнуло глухо, как стучит в сыром полене клин. Нетель замолчала и опустила ногу на землю. Постояла. Переступила.

— Урхасова? — спросил отец.

— Долгого.

— Скажи Долгому, пусть неделю в стадо не гонит. Унавий пусть посмотрит, где порвано.

С того конца луга, от реки, где стояли мужики с конями, было слышно Бачмана. Он рассказывал громко, чтобы слышали все. Как он побежал на них с палкой. Как их было пятеро, нет, шестеро. Как один прыгнул, а он его палкой по морде, и тот завизжал. Как он гнал их до самого леса, а они бежали. Мужики смеялись и спрашивали, какой масти был тот, что прыгнул, и Бачман говорил, что серый, и они смеялись ещё.

Ятман слушал и молчал.

По тропе от села пришёл Кёвёрке с кринкой молока для пастуха. Он поставил кринку у шалаша, послушал Бачмана, посмотрел на нетель, на лыко, на Ятмана.

— Ск-колько их было? — спросил он тихо.

— Трое, — сказал Ятман.

Кёвёрке кивнул, как кивают, когда число сошлось с тем, что думал сам, и больше не спрашивал. Он сел на корточки у костра и стал смотреть, как отец Ятмана обматывает ногу, — не на отца, а на руки, сколько оборотов.

Больше его никто ни о чём не спрашивал. Урхас рассказал отцу, где нашли нетель, в двух словах, и отец кивнул и ничего не сказал. Ятман ждал, что он скажет, и потом понял, что ждать не надо: отец говорил, когда считал, а тут всё было сосчитано. Двадцать шесть. Ровно.

Отец присел ещё раз и стал обматывать нетели ногу лыком поверх лопуха, туго, в три оборота, как обматывают треснувшую оглоблю.

Ятман стоял рядом с топорищем. Лезвие было в смоле и в щепе, рукоять тёплая от отцовской руки. Он переложил его из правой в левую, и в левой заныл вчерашний палец. Переложил обратно. Положить его на траву было нельзя, это было не его. Отдать — отец был занят. Воткнуть в землю — топор не втыкают в землю, это он знал от матери, хотя не знал почему.

Отец обматывал ногу. Бачман рассказывал, что волков было семеро.

Ятман стоял и держал топорище и не знал, куда его деть.

Глава 2. Старший сын

Ахан. Кочевье при реке, восток, весна — лето 1235 года

Утром пала старая кобыла, и Ахан пошёл смотреть на неё до света.

Она лежала у самой воды, на боку, там, где всегда спускалась пить, и была уже холодная. Ахан обошёл её кругом, присел, провёл ладонью по шее, по сбитым зубам. Потом позвал сына.

Сын пришёл не сразу, заспанный, в незавязанном халате. Вдвоём они оттащили кобылу на верёвке вверх по склону, подальше от воды. Сын тянул хорошо и молча. Ему шёл двадцать второй год, он был выше отца и шире в плечах, и Ахан каждый раз, когда видел его рядом, отмечал это заново, как отмечают новый колодец на знакомой дороге.

— Хватит? — спросил сын.

— Дальше.

Оттащили ещё. Ахан сел на камень. Внизу женщины уже доили, от юрт шёл первый дым.

— Она у меня двадцать вторую весну, — сказал Ахан.

— Двадцать третью.

Ахан посчитал по зимам.

— Двадцать вторую, — сказал он.

Сын не стал спорить. Он вообще не спорил с отцом с тех пор, как отец вернулся, и говорил с ним ровно и вежливо, как говорят с гостем, который живёт в доме давно.

* * *

Дома он жил двенадцатый год.

Из десятка, что был при нём на Итиле, домой он привёл шестерых. Старик умер через год, от зубов, которых у него не было. Канглы откочевал к своим тюркам и больше не показывался. Братья жили выше по реке, один айл на двоих, и приезжали на праздники. Кривой ушёл ниже по реке, к снохе. Хархасу женился и детей не завёл. Рябой остался у большой реки, у задних телег, в то же лето, и Ахан не знал, кто его клал в землю и клал ли.

Скота у него было немного: восемьдесят четыре овцы, одиннадцать коней, три верблюда. Он знал это число утром и вечером и поправлял, когда оно менялось. За двенадцать лет оно росло, потом упало в тот год, когда был джут и овцы ложились на наст и не вставали, потом росло опять, медленно.

Жена была моложе его на четыре года и выглядела старше. Она родила ему шестерых. Выжили сын и две дочери, обе выданы. Про троих не говорили.

Доспех лежал в сундуке, в чём был сложен.

Ахан достал его один раз, на вторую весну дома, проветрить. Наплечник был треснут поперёк — давно, у Дербента, — и трещину надо было отдать в починку. Он сложил доспех обратно и больше не доставал. На сундуке лежала свёрнутая кошма, а на кошме спала кошка, и кошку никто не гонял, потому что сундук открывать было незачем.

* * *

Двое приехали в начале лета, когда откочевали на летнее.

Приехали в полдень, при заводных, и не слезли, пока не собрались все. У старшего конь был хороший и шёл издалека: холка у него была сбита под передней лукой, сбита давно и заживала на ходу. Ахан смотрел на эту холку, пока старший разворачивал лист.

Старший читал медленно и ровно, как читают то, что уже читали много раз и прочтут ещё много. От каждого дома берут старшего сына. С конём, с заводными, с тем, что положено. Сбор в такой-то срок, в таком-то месте. Идут на запад.

Дальше в листе было ещё, и он прочёл и это, но люди уже не слушали: главное было сказано.

— Кто пишет? — спросил кто-то.

— Я пишу, — сказал младший и достал доску.

Стали вызывать по домам. Называли хозяина, ждали, записывали имя сына.

Ахан стоял с краю и считал. Юрт в кочевье было девятнадцать. В одиннадцати старший сын был взрослый. В четырёх — мальчик. В трёх старших сыновей не было вовсе. В одном был один сын.

— Ахан, — назвал старший.

— Здесь.

— Сын?

— Один, — сказал Ахан.

Старший посмотрел на него — на седину, на руки. Младший записал.

* * *

Сын собирался весело.

Он вычистил седло и перетянул подпругу. Два дня выбирал коней и выбрал трёх. Ахан посмотрел и сказал: бери не серого, бери гнедого, у серого спина короткая. Сын взял серого.

Он ходил по стойбищу с четырьмя другими, кого тоже записали, и они громко говорили и смеялись, и старухи смотрели на них от котлов, и одна плюнула через плечо, чтоб не сплзнуть.

Ахан помнил себя таким.

Он собирался так же в тот год, когда пришли вести о купеческом караване, вырезанном в Отраре, и стало известно, что идут на запад. Ему тогда было тридцать, и он тоже выбирал коней, и тоже взял серого, и серый пал на второй год за перевалом, и Ахан снял с него седло и понёс на себе до стоянки.

Он смотрел на сына и не знал, что сказать.

Он знал, что сказать про коня, про войлок под седло вдвое, про то, как вялить мясо, чтобы не зацвело, про то, что в чужой воде не пьют у берега, а заходят выше, и про то, что у реки не ложатся спать головой к воде. Всё это он сказал. Сын выслушал вежливо, покивал и половину сделал наоборот.

Того, что надо было сказать, Ахан не знал. Он даже не знал, есть ли оно.

На четвёртый день он сказал жене:

— Я пойду.

Жена шила. Она дошила до конца шва и завязала узел.

— Тебя не звали, — сказала она.

— Я сам.

— Тебе сорок семь.

— Сорок семь, — сказал Ахан.

Она отложила шитьё и вышла и до вечера не возвращалась. Вечером вернулась и стала печь лепёшки на дорогу, и пекла до ночи, и напекла столько, что половину потом пришлось оставить собакам.

* * *

Записываться он поехал сам, за два перехода, в ставку тысячника.

Стан стоял в широкой долине, людный и пыльный, у коновязей стояли кони, и между ними ходили люди и смотрели чужих коней, и каждый думал, что его лучше. Ахана продержали до полудня. Потом вышел сотник.

Сотник был молодой, лет тридцати, в хорошем поясе с серебряными бляхами, и годился Ахану в сыновья. Он был вежлив. Он спросил, сколько Ахану лет.

— Сорок семь.

— Стреляешь?

— Стреляю.

— Много вас таких сегодня, — сказал сотник. — Ступай домой, отец. Сына мы взяли.

Сын будет служить хорошо.

— Я не вместо сына, — сказал Ахан. — Я при нём.

— При нём — это как?

— Он в своём десятке. Я в своём.

Сотник посмотрел мимо него, на коней.

— Я на западе был, — сказал Ахан. — За Железными воротами. Потом на большой реке, на Итиле. Потом на той, где лес по правому берегу и глина рыжая.

Сотник перестал смотреть на коней.

— На Итиле, — сказал он.

— На Итиле.

— Броды помнишь?

— Помню, где были.

— Реки?

— Реки помню, — сказал Ахан. — Я их считал.

Сотник позвал писца. Писец был не свой, с мягким выговором, в полосатом халате: хорезмиец, Ахан таких видел в их городах, когда города ещё стояли. Писец спросил имя, отца, откуда, сколько коней, и записал справа налево, быстро, не глядя на доску.

— Таких, кто помнит тамошние реки, у меня в тысяче двое, — сказал сотник. — Теперь двое. Пойдёшь при мне. Не в строю — впереди строя.

— Я в строю тоже могу.

— В строю у меня всякий может, — сказал сотник, вежливо, и ушёл.

Так Ахан узнал, что стоит он теперь не тем, чем стоял прежде, — не рукой и не луком, — а тем, что помнит, где какая вода. Он поехал домой и два перехода думал, хорошо это или плохо, и не решил.

* * *

Вечером перед выходом он достал онгона.

Онгон был войлочный, в ладонь, с прошитым белой ниткой лицом без черт. Он остался от матери. Мать каждый год в свой день мазала ему рот жиром, ставила перед ним первую еду и говорила при этом слова, и Ахан этих слов целиком не помнил: помнил начало и конец, а середину нет.

Он растопил в ложке курдючного сала и мазнул онгону рот пальцем.

Сало было тёплое и ушло в войлок сразу, как уходило всегда. Ахан вытер палец о полу и сел. Сказал начало. Сказал конец. Посидел.

Он смотрел на онгона и слушал себя.

В нём ничего не было.

Рука знала порядок: растопить, мазнуть, вытереть, посидеть. Всё было сделано верно. Он подумал, что это потому, что он устал. Потом подумал, что тогда, перед тем походом, было,

наверное, так же, только тогда он на это не посмотрел, а теперь посмотрел, и разницы больше никакой.

Жена стояла за его спиной у очага. Она видела, как он мазал, и ничего не сказала. Потом подошла, взяла у него ложку с остатком сала и сама мазнула онгону рот ещё раз — два раза, быстро, как мажут ребёнку сажей лоб от дурного глаза.

— Так лучше, — сказала она.

Он завернул онгона в тряпицу и убрал в суму, в левую, где лепёшки.

* * *

Кривой приехал прощаться на третий день.

Ему было за шестьдесят. Плечо у него срослось криво ещё в Хорасане, и оттого он тянул лук снизу и стрелял лучше всех, кого Ахан знал. На левой передней у его коня была подкова — чужая, кавказская, — он её берёг и перековывал на новых коней. Он слез в два приёма и сел к огню.

Молчали, пока не поели.

— Сын идёт, — сказал Ахан.

— Знаю.

— И я.

Кривой посмотрел в огонь.

— Меня не берут, — сказал он.

— Тебе шестьдесят.

— Шестьдесят три.

Помолчали ещё. Кривой вытер пальцы о голенище.

— В обоз берут, — сказал он. — Я спрашивал.

— Ты спрашивал?

— Я спрашивал.

Ахан посмотрел на него. Кривой сидел, положив руки на колени, и правое плечо у него, как всегда, было ниже левого, будто он всё время что-то нёс на этом плече.

— Зачем? — спросил Ахан.

Кривой подумал.

— *Гэр хол байна* «Дом далеко», — сказал он.

Он говорил это всегда: на второй год того похода, и на пятый, и когда шли назад, и когда уже шли по своей степи. Ахан тогда думал, что это жалоба. Потом перестал так думать и не знал, что думать вместо.

— Ты это и отсюда говоришь, — сказал Ахан. — А тут дом.

— Отсюда тоже далеко, — сказал Кривой.

Он остался ночевать, и утром они выехали вместе.

* * *

Уходили в день, когда кочевье перебиралось на нижние луга.

Так вышло само. Женщины разбирали юрты, вязали решётки, грузили верблюдов, и в этой работе отъезд мужчин был не отъездом, а частью работы. Никто не стоял и не смотрел вслед. Все были заняты.

Жена подошла к коню и подтянула переднюю подпругу, которую Ахан нарочно оставил слабой, чтобы ей было что подтянуть.

— Лепёшки в левой суме, — сказала она. — В правой соль.

— Знаю.

- Кошму под дождём не оставляй.
- Не оставлю.
- Она подержала руку на подпруге и убрала.
- Он тебя слушать не будет, — сказала она.
- Не будет.
- Ты его при людях не учи.
- Не буду, — сказал Ахан.

Она отошла к верблюдам. Собаки бежали за ними до поворота и отстали, как отстают всегда: сначала старая, потом та, что помоложе, а щенок дольше всех.

За поворотом Ахан оглянулся один раз. Юрт видно не было — был виден только дым, низкий, ровный: день стоял безветренный.

- Смотришь? — спросил Кривой.
- Дым смотрю.
- Ну смотри, — сказал Кривой и поехал к обозу.

* * *

Шли долго: сперва вдоль хребта на закат, потом по голой степи, потом три дня солончаком, где воды не было и коней поили из бурдюков в четыре очереди.

Ахан ехал впереди сотни, один или с двумя молодыми, и смотрел, где трава, и где падаль, и где следы чужого прохода, и вечером говорил сотнику, что видел. Сотник слушал, кивал и делал по-своему.

На солончаке Ахан пригодился в первый раз.

Сотник вёл людей к колодцам, о которых ему сказали, а колодцы стояли в двух переходах правее. Ахан подъехал и показал: под тем краем, где белое переходит в серое, в промоине, вода есть, если копать на локоть.

- Ты там был?
- Был.
- Когда?
- Двенадцать лет назад.
- Сотник посмотрел на белое и на серое.
- Двенадцать лет, — сказал он.
- Вода старше, — сказал Ахан.

Сотник послал восьмерых копать, а сотню повёл к колодцам. К вечеру восьмеро догнали: вода была, солоноватая, но была, и они напоили своих коней. Сотник выслушал их при всех и сказал, что хорошо. На другой день он подъехал к Ахану и поехал рядом, шагом, и полверсты молчал.

- Ты мне говори, — сказал он. — Я не всегда сделаю по-твоему. Но ты говори.
- Скажу.

Больше об этом не было сказано. Ахан отметил, что сотник не сказал «я был неправ», и подумал, что это правильно: кто говорит такое при людях, тот через месяц не сможет никем командовать.

* * *

Десяток ему дали на восьмой день пути.

Девять и он. Прежде у него был такой же счёт — девять и он, десять, — но тех он знал с детства, у четверых знал отцов, у двоих дедов, и счёт шёл сам, как вода под уклон.

Этих он не знал.

Двое были из-за хребта и говорили с чужим выговором. Один был тюрк, влитый прошлой осенью. Один был мальчишка лет семнадцати, из тех, кого берут за коня, когда конь хороший. Двое были братья, не полные, а по отцу, и держались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Один был молчун с лицом, изрытым оспой. Один смеялся после каждой своей фразы, и это было утомительно уже к полудню. Девятого Ахан в тот день так и не разглядел.

Вечером он сел считать.

Он делал это всегда, каждый вечер в походе: садился у огня, пересчитывал людей и коней, и это занимало недолго и приводило голову в порядок, как приводит в порядок руки подтянутый ремень.

Он начал.

Тюрк. Мальчишка с конём. Братья — трое, четверо. Молчун — пятеро. Тот, что смеётся, — шестеро. Один из-за хребта — семеро.

Дальше не пошло.

Он знал, что их девять: он видел их днём, он их кормил. Но назвать восьмого он не мог, потому что не знал имени и не запомнил лица отдельно от остальных, и на этом месте в голове было пусто, и счёт останавливался, как останавливается веретено, когда кончилась нитка.

Он начал сначала. Дошёл до семи и встал на том же месте.

Тогда он поднялся и пошёл вдоль огней. Он обошёл всех девятерых и у каждого спросил имя и откуда он, и каждый ответил, а один переспросил, зачем. Ахан не ответил зачем.

Он вернулся, сел и повторил имена. Они держались в голове плохо, как держатся вещи в чужой суме: вроде всё тут, а рука ищет не там.

* * *

На переходе вдоль сухого русла, где смотреть было не на что, он вспомнил стол.

Стол стоял на пустом поле, сколоченный из плах, и на нём стояли миски, и в мисках было что-то, чего никто не ел. С одной стороны сидели свои, с другой — лесные. Между ними ходил переводчик, аскиз, кажется, или кто-то в аскизской шапке. Спорили весь день. Ахан стоял в оцеплении, и у него затекала спина, и он переступал с ноги на ногу, и кто-то сзади сказал ему не переступать.

Он помнил стол.

Он помнил, что пахло овцами. Этот запах стоял над всем полем и не сходил, потому что овец было очень много и они всё шли и шли мимо, днём и ночью, и блеяли, и пыль от них стояла до неба.

Он помнил, что тот, кто сидел напротив и говорил за лесных, был в железном лице. Золото было по краям, у прорезей, и больше нигде.

Имени он не помнил.

Он попробовал и не вспомнил, и удивился. Имя тогда называли вслух, много раз, и он его слышал, и оно было короткое. Он стал перебирать похожие звуки и ни на одном не остановился. Лица тоже не было — было железо, и золото по краю, и голос, ровный, как у того, кто считает.

Он помнил только, что после стола их отпустили. Всех, кто стоял на ногах. За овец. Их пересчитали, как овец, и отпустили, и они пошли на восток, и Хархасу вернули им без счёта, сверху.

Хархасу ехал сейчас в третьем десятке той же сотни. Ему было тридцать два, и он по-прежнему лучше всех управлялся с конями, и кашлял с той осени, и никто не знал отчего. Он сам попросился в поход, до того как пришёл приказ.

Ахан подъехал к нему на дневке.

— Помнишь стол?

— Помню.

— Того, кто говорил. Как его звали?
Хархасу подумал, глядя на коней.
— Не знаю, — сказал он. — Меня туда не пустили. Я у коней стоял. Я тогда был ничей.
— Верно, — сказал Ахан. — Ты был ничей.
Он отъехал.

* * *

Через день он позвал сына к своему огню.

Сын пришёл, сел, поел и стал ждать, что отец скажет. Он называл его теперь «ахан», как все молодые называли старших, и Ахан это слышал и ничего не говорил.

— В твоём десятке сколько? — спросил Ахан.

— Десять.

— Считал?

— Десятник считал.

— Ты тоже считай.

Сын пожал плечами.

— Зачем?

— Десятник может лечь.

— Тогда назначат другого.

Ахан подложил в огонь кизяка.

— Как их зовут? — спросил он.

Сын назвал четверых. На пятом остановился и сказал, что пятый — тот, у кого лук в злёном чехле.

— Это не имя.

— Мне хватает, — сказал сын. — Я его по чехлу узнаю.

— Чехол потеряется.

— Тогда по лицу.

Ахан хотел сказать, что лицо тоже теряется. Что через двенадцать лет помнишь чехол и не помнишь, чьё было лицо. Что помнишь железо и не помнишь имени. Он открыл рот и ничего из этого не сказал.

— Ладно, — сказал он.

Сын посидел ещё и ушёл к своим, спокойно, не обидевшись. Это было хуже, чем если бы обиделся.

* * *

Вечером Ахан сел считать снова.

Тюрк — его звали по отцу, и отца Ахан теперь знал. Мальчишка с конём, у которого отец держал табун у солёного озера. Братья. Молчун. Тот, что смеётся, — он был из-под самого хребта и смеялся, как там все смеются. Двое из-за хребта — семеро, восьмеро. Девятый — широкий, с белым шрамом через переносицу, сидел всегда так, чтобы огонь был справа, и Ахан весь день смотрел, как он сидит, и запомнил.

Девять.

И он.

— Десять, — сказал Ахан вслух.

Тот, что смеётся, обернулся.

— Чего?

— Ничего, — сказал Ахан.

Он сидел и смотрел, как огонь ест сухой кизяк — быстро, без углей, оставляя серое.

Двенадцать лет он считал другое: восемьдесят четыре овцы, одиннадцать коней, три верблюда. Хорошее число, ровное, и всё равно каждое утро надо было выйти и посмотреть самому, потому что число живёт отдельно, а овцы отдельно, и сходятся они, только когда на них смотришь.

А «десять» легло в руку само, как ложка, которую двенадцать лет не брал, а рука помнит, где у неё черпак.

Он удивился, до чего это слово лёгкое. До чего старое и до чего удобное. И что за двенадцать лет оно ни разу ему не понадобилось, а теперь вышло изо рта раньше, чем он решил его сказать.

Глава 3. Двадцать шестой дафтар

Хасан-бек. Великий город, хлебная палата, август — сентябрь 1235 года

Первая подвода встала у весов затемно.

К восходу их было двадцать две, и очередь тянулась от ворот хлебного двора до угла коженного ряда и загибалась за угол, и хвоста от весов видно не было. Хасан-бек знал, сколько там, потому что послал мальчишку сосчитать.

— Тридцать одна, бек, — сказал мальчишка, вернувшись бегом.

Мальчишку звали Мунир. Ему было четырнадцать, он носил в палату воду и бегал, куда пошлют, и бегал быстро, а считал верно, и это было больше, чем палата имела право требовать за то, что ему платила.

— По коням считал или по телегам?

— По телегам.

— Правильно.

Приёмка шла так. Возчик подавал бирку. Весовщик пересыпал зерно в мерный короб и ровнял гребком. Второй писец кричал число. Первый писец записывал. Хасан-бек стоял у весов и смотрел на гребок.

Гребок — это всё. Один и тот же человек, ровняя гребком, за год отдаёт лишнего или недодаёт столько, что это видно в конце года на бумаге и не видно ни в один день отдельно. Поэтому бек стоял у весов первые два часа каждого приёмного дня. Так он стоял двенадцать лет на таможенном дворе в Ага-Базаре, так стоял и здесь, в хлебной палате Великого города, тринадцатый год.

В третьем часу у весов заспорили.

Возчик из-под Кернека кричал, что в мешках у него было больше и что при пересыпке просыпали. Весовщик кричал, что просыпать полторы меры нельзя, даже если стараться.

— Можно, — сказал возчик. — Я видел, как у вас тут сыплют.

— Где ты видел?

— Везде вижу. У меня глаз.

— У тебя мешок дырявый, — сказал весовщик. — Вот у тебя что.

Бек подошёл, взял пустой мешок, вывернул и показал шов. Шов разошёлся на ладонь.

Возчик посмотрел на шов и сказал, что это баба зашивала.

— Баба, — сказал весовщик. — Баба у него виновата.

— А кто?

Очередь засмеялась. Бек велел записать полторы меры за палатой и взыскать с той, кто зашивала, и засмеялись снова, и возчик громче всех, потому что вышло по его.

— Это стоило палате полторы меры и четверть часа, — сказал Ильяс, записывая.

— И очередь до вечера стоит спокойно, — сказал бек. — Четверть часа дёшево.

Ильясу ибн Юсуфу было под шестьдесят. Он был писцом палаты и служил при беке тринадцатый год, с тех пор как оба сели здесь за один стол. Каждый приёмный день он говорил «мало», и в тот день, когда принимали много, говорил «мало» тоже, добавляя, что это заслуга дождей, а не палаты.

К полудню приняли триста девять мер.

— Мало, — сказал Ильяс.

— Мало, — согласился бек. — Пиши.

* * *

Амбары стояли в трёх местах, и между ними было идти.

Бек ходил пешком. Верхом ему было положено, и лошадь при палате была, но от старого хлебного двора до нижних амбаров у вала он ходил пешком: сверху не видно очередей.

Город был велик. Бек однажды прошёл его от восточных ворот внутренней стены до внешнего вала, считая шаги, и бросил считать на середине, и потом говорил просто: от края до края — полдня, если не торопиться и не застрять в рядах. Кирпичных домов было больше тридцати. Бек знал число точно, потому что с кирпичных домов брали иначе, чем с деревянных, и число это ему приносили каждую весну. Остальное было дерево и глина, двор к двору, дворов столько, что их считали не по одному, а кварталами, и в каждом квартале был свой человек для счёта, и половина этих людей считала плохо.

Он шёл мимо кирпичного дома кадия, мимо дома с изразцами, где жил старший из купцов, ходивших на Каму, мимо бани с синей дверью и думал не о домах, а о том, сколько в каждом едят.

У нижних амбаров его догнал Абу-Хамид.

Сотник дальней сторожи был моложе бека лет на двадцать, ходил быстро и говорил коротко, как говорят люди, которые половину года проводят в седле и берегут слова, как воду.

— Бек. Мне на дальнюю сторожу нужно хлеба на сорок человек на месяц.

— Пиши в палату.

— Я писал. Мне дали на двадцать четыре.

— Значит, на двадцать четыре.

— У меня сорок, — сказал Абу-Хамид.

Бек остановился.

— По росписи у тебя двадцать четыре.

— По росписи двадцать четыре, а стоит сорок. Мне прислали шестнадцать из Кернека. В Кернеке их кормить нечем.

Бек достал книжечку, которую носил за поясом отдельно от дафтара, и записал: дальняя сторожа, шестнадцать, из Кернека, не в росписи.

— Запрошу, — сказал он.

— Запросишь, — сказал Абу-Хамид. — А кормить сегодня.

— Сегодня возьми у себя. Верну из сентябрьского.

Сотник кивнул и пошёл. Он не поблагодарил, и бек отметил про себя, что это хорошо: благодарят обыкновенно те, кто придёт просить второй раз.

— Куда ставят? — крикнул бек ему в спину.

Абу-Хамид обернулся.

— На Яик, — сказал он. — Смотреть.

— Что смотреть?

— Всё, — сказал Абу-Хамид.

Обратно бек пошёл поверху, по гребню внешнего вала, потому что так было короче.

Внешнюю линию строили при нём. Начали в тот год, когда он приехал, вели с перерывами и на большей части довели. На северо-востоке не довели. Там вал подходил к оврагу, над которым шёл ручей, и на гребне стояли срубы-городни, забитые землёй, а над самым оврагом городни кончались, и сорок саженей было заложено плетнём и хворостом. Плетень стоял третий год.

Бек постоял над оврагом.

Он знал, сколько это стоит, потому что сам считал прошлой зимой, когда палату спросили о расходах. Довести участок — восемьсот человеко-дней, если лето сухое, и телеги, и лес на срубы. Восемьсот человеко-дней — это сорок человек на двадцать дней, и это цена одного среднего недорода. Он подал счёт и получил ответ, что работы отложены до решения.

Решения не было второй год. Бек не сердился. Он знал, в каком порядке делают дела наверху: сперва то, о чём спрашивают, потом то, что видно, потом остальное. О плетне не спрашивали, и с дороги его не было видно.

Он записал в книжечку: плетень у оврага, третий год. Он записывал это каждую осень, и записи шли одна под другой, и их было три.

* * *

Двадцать шестой дафтар был почат весной.

Бек считал свои дафтары с того года, как сел за первую приёмную книгу в Ага-Базаре. Двадцать пять было исписано и сдано. Двадцать шестой лежал на столе, в переплёте из телячьей кожи — когда-то в молодости бек велел делать переплёты покрепче, и с тех пор их делали так. Строка шла справа налево, разнесённая по столбцам: приход, расход, остаток, кому и по чьему слову.

Правая рука у бека всегда была в чернилах. Он заметил это лет двадцать назад и перестал замечать.

Вечерами, когда палата пустела, он садился за то, что никто не велел считать.

Есть числа, которые считают, потому что велено. И есть числа, которые никто не велел. Второй год бек считал одно такое. Он брал ведомости постоя, ведомости въезда при воротах, квартальные росписи, куда вписывают вновь поселившихся, и складывал, сколько людей пришло в город за год. Потом складывал, сколько выбыло: умерших по кладбищенской росписи, ушедших с обозами, выселенных, проданных. Вычитал.

В прошлый год вышло, что пришло больше, чем ушло, на семьсот с лишним человек. В этот год он ещё не кончил, но по восьми месяцам выходило больше, чем за весь прошлый.

Это было неправильное число.

Большой город всегда растёт. Прибывают ремесленники, купцы, работники — поне-много, ровно, каждый год примерно столько же. Эти шли по-другому. Бек раскрыл вторую книжечку и перечёл свои пометы. Саксины: сорок дворов, потом ещё двадцать три, потом перестали записываться дворами и стали записываться «людьми», а это значило, что дворов у них больше нет. Кипчаки: не десятками при торговом деле, как всегда, а семьями, с жёнами и малыми, и не в степь назад, а на зиму, и на вторую, и на третью. С весны — свои. Из-под Суvara, из-под Джукетау, с юга.

Суварскую округу бек знал по дафтарам лучше, чем свой квартал. Сто сорок кустов по хлебному сбору, от самого Суvara вверх по Волге и по Каме, сёла по сорок, по шестьдесят дворов, многолюдные, хлебные: треть того, что ложилось в амбары палаты, шло оттуда. Половина тех сёл ходила в мечеть, половина молилась по-своему, в рощах, и сбор с тех и других брали одинаково, и бек давно перестал в дафтаре их различать. Тринадцать лет назад из суварских сёл правого берега девять ушли в лес, со всем, что могли увезти. В его тогдашнем дафтаре это заняло две строки: «сбора нет» и «взыскать не с кого». Остальные остались — и сувары, и булгары, и те, про кого уже нельзя было сказать, кто они. И вот теперь из-под Суvara шли в город и те и другие, и по вороту их различала бы, наверное, какая-нибудь мастерица, а воротный писец не различал и писал одно слово: «пришлые».

Люди приходят, когда им хорошо там, куда идут, или когда им плохо там, откуда идут. Первое бывает медленно и с деньгами. Второе — быстро и без денег.

Эти приходили без денег.

Он видел их сам. Как-то в начале лета он задержался у южных ворот, где воротный писец вёл въезд, и простоял там час, не показываясь. Въехала телега: мужик, баба, трое детей, корова на верёвке сзади, в телеге сундук и ткацкий стан, разобранный и увязанный. Писец спросил, откуда. Мужик сказал: из-под Суvara. Писец спросил, к кому. Мужик сказал: ни к кому, жить.

Писец спросил, какое ремесло. Мужик подумал и сказал, что пахал, а тут, видно, будет носить. Писец записал: носильщик. Баба на телеге держала стан рукой, будто он мог уйти сам.

— Что там у вас? — спросил писец, уже не для записи.

— Ничего, — сказал мужик. — Люди говорят.

— Что говорят?

— Говорят, — сказал мужик и тронул лошадь.

За час въехали ещё четыре такие телеги. Ни одна не везла товара. Бек пошёл в палату и в тот же вечер завёл в книжечке отдельный лист.

Бек писал об этом дважды. В позапрошлом году — коротко, шесть строк с числами, приложением к годовому отчёту. Ответ пришёл через месяц: палате указано подтянуть недоимку по хлебному сбору с округи, которая против прежнего меньше на одиннадцатую часть. Весной он написал длиннее и просил распорядиться о запасе. Ответ пришёл через шесть недель: указано изыскать недоимку.

— Изыскать, — сказал Ильяс, прочтя.

— Изыщем.

— Бек. Ты им пишешь про людей, а они тебе про меры. Это два разных языка.

— Это один язык, — сказал бек. — Люди едят меры.

Ильяс поджал губы и стал точить калам. Он точил его дольше, чем было нужно, и это было всё, что он себе позволял.

* * *

В конце лета в палату пришёл монах-чужеземец и с ним двое. Одет он был по-дорожному и плохо, ряса на нём была перешита из чужой, это было видно по рукавам. Говорил через толмача, а толмач через второго, потому что первый знал только по-русски. Монах просил постоя, и бек записал: постоя, трое, три дня, две меры и корм коням, уплачено. Уже уходя, монах сказал, что идёт на восток искать людей своего народа, которые, как у них говорят, остались где-то за большой рекой от старых времён, и ищет их не первый год. «Они его звали?» — спросил бек. Толмачи переговорили: нет, не звали. Бек подумал, что у человека, который ищет родню, не получив от неё ни слова, должно быть или очень много денег, или причина, о которой лучше не спрашивать. Имя он записал со слуха, переспросив дважды, и монах посмотрел на запись и сказал, что верно, хотя прочесть её не мог. Бек записал неправильно. Он понял это через год, наткнувшись на строку, и тогда было уже всё равно.

* * *

Во дворе палаты в тот день получала своё городская стража, и среди стражников был один, которого бек знал.

Он узнавал его всегда не по лицу, а по тому, как тот стоял: на левую ногу, с копьём у правого плеча, лицом не к двору, а к воротам. Так стоят люди, которых учили стоять в дозоре у брода.

Ильдару было под сорок. Он был здешний, из этого города, и тринадцать лет назад ездил всадником в авангарде, которым командовал человек в позолоченной личине. Потом авангард распустили, и Ильдар вернулся к жене и пошёл в городскую стражу, и раз в месяц, когда стража приходила за довольствием, бек видел его во дворе. Обыкновенно они кивали друг другу, как кивали тогда, в отряде, когда поклоны отменили за ненадобностью, и на этом всё.

В этот раз бек подошёл.

У коновязи стоял Ильдаров конь, и седло на нём было не городское: старое, авангардное, с серебряной оковкой на передней луке, потёртой до меди.

— Седло всё то же, — сказал бек.

— То же, — сказал Ильдар. — Предлагали за него двух баранов и новое. Не продаю.

— Кто шил?

— В Болгаре, у восточных ворот. Ахмад. — Ильдар погладил луку. — Тем же летом, перед выходом. Он нам всем тогда шил, пол-авангарда. Он и теперь шьёт. Руки трясутся, а шьёт.

— Шьёт, — сказал бек.

— Сына нет, а он шьёт, — сказал Ильдар и замолчал.

Больше про седло не говорили. Бек тринадцать лет назад хоронил Ахмадова сына, до заката, как положено, и Ильдар стоял тогда в третьем ряду, и оба это помнили, и ни один не сказал.

— Скажи, — спросил бек. — Дорогу на правый берег помнишь?

Ильдар посмотрел на него внимательно, как смотрят на брод, прежде чем войти.

— Её все помнят, кто ходил, — сказал он.

— Все — это сколько?

— Кто жив. — Ильдар подумал. — Мансур помер позапрошлой зимой. Халим в Джуке-тау, при пристани. Я. Салих там, за Волгой, в лесу, с ними. Больше не знаю.

Бек кивнул и пошёл в палату. У двери он обернулся. Ильдар опять смотрел на ворота, как на брод.

Бек записал в книжечку, под плетнём и под Кернеком: Ильдар, городская стража, дом у гончарных, седло не продаёт. Он не знал, зачем записал. Он записывал многое, не зная зачем, и через год или через пять многое оказывалось нужным, и он давно перестал этому удивляться.

* * *

Дома ели поздно, потому что бек приходил поздно.

Дом стоял во внутреннем городе, в третьем квартале от соборной мечети, глиняный, с деревянной галереей и двумя тузовыми деревьями во дворе. Бек купил его на третий год и с тех пор не перестраивал.

Ели вместе: бек, Марьям, сын Юнус с женой и двое внуков. Младшему было полтора, он ел на руках у матери и тянулся к лепёшке, и лепёшку ему не давали, а он тянулся.

Бек ел быстро. Он всю жизнь ел быстро, потому что тридцать лет ел между делами. Он этого стыдился, и в доме об этом знали и не смотрели.

Юнусу было двадцать пять, он был писцом в той же палате. Устроил это бек, и об этом знали, и это было обычно. Юнус был аккуратен и медлителен, и бек его за это не хвалил: хвалить сына при людях значит портить, а наедине они говорили только о деле.

— Кварталы за нижним валом опять не подали росписи, — сказал Юнус.

— Который раз?

— Третий.

— Поезжай сам.

— Я ездил. Там кварталный говорит, что он не кварталный, потому что его выбрали на год, а год кончился.

— А кто кварталный?

— Никто, — сказал Юнус.

Бек прожевал.

— Так и запиши: квартала нет, — сказал он. — Пусть наверху прочтут, что квартала нет. Может, испугаются.

Юнус засмеялся. Невестка посмотрела на свекровь, свекровь на неё, и обе промолчали.

Гребень был у Марьям в волосах.

Роговой, с птицей на спинке. Бек купил его на пристани в Ага-Базаре в тот год, когда в последний раз ездил с отрядом, за два собственных серебра, и возил в суме всё лето. С левого края у гребня был надлом: зуб держался на волокне и не отламывался, и Марьям его берегла.

— Ты его тринадцатое лето носишь, — сказал бек.

Марьям потрогала гребень.

— Он же не кончился, — сказала она.

Когда убрали, она села напротив и налила ему ещё.

— Ты второй месяц ходишь ночью по галерее, — сказала она.

— Хожу.

— Хлеба мало?

Бек подумал, как ответить, чтобы не соврать и не сказать.

— Хлеба довольно, — сказал он. — Людей много.

— Людей много — это хорошо.

— Хорошо, — согласился бек.

Марьям посмотрела на него и больше не спрашивала.

* * *

В казённую ткацкую бек ходил раз в год.

Ткацкая стояла за пятым кварталом, в длинном низком доме с окнами на одну сторону. Там работали женщины, взысканные за недоимки, взятые за долг и присланные из округи, и довольствие им шло по его ведомости, и раз в год он проверял ведомость на месте: сколько станов, сколько при них людей, сколько выдано.

Он пришёл в конце лета, к вечеру.

Станов было двадцать восемь, работали двадцать три. Людей по списку тридцать одна, в доме двадцать девять: одна больна, одна отпущена хоронить мать.

Бек остановился в дверях и не вошёл.

Третьей от окна сидела женщина лет сорока пяти, в сером, с прямой спиной. Она ткала быстро и не смотрела на руки. Бек знал, что её зовут Ильгам: раз в год он вписывал это имя в ведомость довольствия, и рядом с именем стояло, что она переведена сюда из Болгара вместе со станами на третий год, а в Болгар взыскана тогда-то, по такому-то приказу. Приказ он когда-то читал вслух сам.

Она не обернулась. Она, может быть, и не видела его, потому что в дверях против света видно только, что кто-то стоит.

Бек постоял и ушёл. Он не заговорил с ней ни в тот раз, ни в прежние. Говорить было не о чем: она была в списке, список был верен, довольствие шло.

По дороге он подумал, что в ткацкой будет холодно, и, придя в палату, первым делом записал: двадцать восемь станов, дрова сверх нормы, полторы сажени на месяц с первых холодов. Потом перечеёл и исправил «полторы» на «две».

* * *

Ночью он считал хлеб.

Дом спал. Бек сидел на галерее, потому что в комнате было душно, и перед ним стояла лампа и лежал дафтар, и во дворе пахло тутовником.

Запас казённых амбаров — сорок одна тысяча мер, если верить последнему смотру, а верить можно с убавкой в двадцатую часть: нижние амбары мерили в спешке. Частных житниц палата не считает, но по обыкновению в городе их хлеба вдвое против казённого, в хороший год. В этот год меньше: купцы держали зерно против цены и часть вывезли на юг. Едоков по

спискам столько-то, по кварталам столько-то, и эти два числа не сходились никогда, и бек брал среднее и прибавлял седьмую часть, потому что за два года людей стало больше на седьмую часть, а в списках их не было. Человеку — мера в месяц с малым, если хлеб и больше ничего. Детям меньше, старикам меньше, работным больше.

Он разделил.

Число вышло не страшное. Город кормился до нового урожая, и оставалось.

Тогда он сделал то, чего прежде не делал: посчитал так, будто в город ничего больше не везут. Ни подвод с округи, ни барок снизу, ни ячменя с Камы. Только то, что уже лежит.

Он разделил второй раз.

По второму счёту город кормился не до нового урожая, а меньше. Насколько меньше — зависело от того, сколько считать людей. По спискам — одно. С седьмой частью — хуже на треть. По кварталам — между первым и вторым.

Это и была вся его работа тридцать лет: у него никогда не было одного числа, всегда три, и надо было знать, какое подать наверх, какое держать при себе и по какому распоряжаться. По третьему он и распорядился бы, если бы его спросили.

Его не спрашивали.

Он обмакнул калам и начал новую строку в дафтаре, в столбце, который вёл для себя: «Хлеб на город, если подвоза не будет, — дней». И остановился.

Какое из трёх чисел туда писать, он не знал. И дело было не в том, что он не умел выбрать. Дело было в седьмой части. Она росла. Он писал её весной седьмой, а к осени она будет шестой, и строка, записанная сейчас, к зиме станет неправдой. Писать неправду в дафтар он не умел.

Он положил калам.

Во дворе, у соседей, долго и неудачно укачивали ребёнка. Потом укачали. Лампа коптила, и бек подкрутил фитиль.

Строка осталась без суммы. После слова «дней» было пустое место длиной в палец, и бек посмотрел на это место, подул на чернила, хотя дуть было не на что, и закрыл дафтар, не присыпав.

Глава 4. Зимняя справа

Атнер. Ыён Юман, лёд третьей реки, декабрь 1235 года

Курака он нашёл на *улах* «посиделках», у Шанкярчевых, куда сам не ходил никогда.

Изба стояла у оврага, большая, с двумя окнами на реку, и старая Шанкярчева мать отдавала её девкам под улах каждую зиму, а девки носили ей за это дрова и пряли на неё по вечеру в неделю. Атнер открыл дверь, и в лицо ему ударило теплом, мокрой шерстью и лучиной. Прялок стояло десять. Веретёна шли все разом, с разным звуком, и от этого в избе стоял ровный шум, под который хорошо слушать. Парни стояли у порога, без работы, как положено. Мальчишки сидели на полу. Ятман сидел среди них, у стены, подобрал ноги, и не заметил отца.

Курак сидел на лавке у стены и сучил верёвку. Атнер хотел позвать его и не позвал, потому что говорил Ярмул.

Ярмул сидел ближе всех к огню, левым боком к печи, и придерживал левую руку правой: к непогоде у него там болело. Ему было за семьдесят. Голос у него не поднимался — к нему подходили.

— И тогда тот, в железном лице, — сказал Ярмул, — назвал цену.

В избе затихли, хотя слышали это двадцать раз.

— *Пёр сын — пёр така* «Один человек — один баран».

Девки у прялок засмеялись — не над ценой, а так, от радости, что дошли до знакомого места. Парень у порога сказал, что он бы попросил двух. Ему сказали, что он и одного не стоит. Засмеялись опять.

— А лицо правда золотое было? — спросила одна, от крайней прялки.

— Литое, — сказал старик из Хурялх. — С того берега видно было, как горит.

— Накладное, — сказал другой. — И облезло.

— Закоптели его, — сказал третий. — Нарочно. Чтоб не блестело в засаде.

— Оно грязное было, — сказал Курак, не поднимая головы от верёвки. — Я его чистил.

— Ты?

— А кто. Он в нём в яме сидел, в нём у реки лежал, в нём ел, когда снять некогда. Золото золотом, а подшлемник преет. — Курак затянул петлю зубами. — Я его песком тёр. Три раза до железа стёр. Оттого и пятно.

Старик из Хурялх посмотрел на него недовольно: это была не та подробность, какая нужна в рассказе.

Атнер стоял у двери, в тени, за парнями.

Он слышал этот рассказ много раз и знал его наизусть, лучше, чем знал то, что было на самом деле. В рассказе было поле, стол, миски, железное лицо, цена, бараны. В рассказе не было пыли. Не было бляения, которое стояло над полем четыре дня и которое он слышал потом по ночам ещё месяц. Не было лица того нойона, с перевязанной рукой, который считал баранов вслух по-своему и сбивался. Не было того, что он, Атнер, торговался весь день не из хитрости, а потому, что если бы он уступил хоть в одной голове, пришлось бы уступать дальше, а дальше он не знал, где остановиться.

— Так мало, — сказал с полу Ятман.

Атнер повернул голову.

Ятман встал — при Ярмуре сидя не говорят — и стоял красный, это было видно даже при лучине.

— Что мало? — спросил Ярмул.

— Баран. Кольчуга стоит как двадцать овец. За воина дали бы коня. За хорошего — двух.

А тут за человека — одну овцу. Значит, дёшево отдали.

Кто-то фыркнул. Девка у прялки сказала «тише».

— Так в том и дело, — сказал Курак.

— В чём?

— В том, что дешёво.

Ятман ждал, что будет дальше. Дальше не было: Курак сучил верёвку.

Атнер надел шапку и вышел.

Он вышел, как выходил всегда, когда начинали про стол, — ни на кого не глядя, будто вспомнил про скотину. За ним никто не пошёл, и никто не обернулся: в Сёнь Юман знали, что Атнер с ухаха уходит, и давно перестали спрашивать почему. Он постоял на крыльце. Снег скрипел. Над оврагом висела луна, и река под ней лежала белая, ровная, с тёмной полосой полыньи у ключа.

Курака он потом дождался у своих ворот. Курак шёл с ухаха не торопясь, с мотком верёвки на плече, и увидел его издали.

— Городецкого слышал? — спросил Атнер.

— Слышал. Он у тебя за столом громко говорит, а мой плетень через проход.

— Завтра молодых на лёд.

Курак перехватил моток на другое плечо.

— Всех?

— Кто придёт.

— Придут все, — сказал Курак. — Зимой скучно. А послезавтра половина.

— Половина и нужна, — сказал Атнер.

* * *

Торговцы стояли у него во дворе с позавчерашнего дня.

Их было двое: городецкий, рыжий и тощий, который говорил по-суварски как на торгу, и мокшанин при нём, который не говорил никак. Шли они по льду Суры на санях, с воском и лубом, свернули на третью реку, потому что на Суре лёг ранний снег и дорога встала, и у Атнера во дворе ждали, пока её накатают.

Атнер их кормил. Ирпике ставила им кашу молча, как ставят проезжим, и молча убирала.

За едой городецкий говорил. Говорил он много, как говорят люди, которые платят за постой новостями: у кого на Суре пал конь, кто на ком женился в Городце, почём там нынче соль. Атнер слушал и ел.

— За Камой опять видели, — сказал городецкий между солью и свадьбой.

— Что видели?

— Разъезды. Конные, не наши и не болгарские. По трое, по пятеро. Смотрят и уходят. Так болгарские говорят, кто с Камы приезжал.

Мокшанин сказал что-то по-своему, и городецкий кивнул.

— Он говорит, на Яике коней собирают. Без числа. Он от своего шурина слышал, а шурин от кипчаков. Говорят, степь там вытоптана на три дня пути.

Атнер положил ложку.

— Кипчаки что говорят ещё? — спросил он.

— Кипчаки уходят, — сказал городецкий. — Которые близко. Говорят, в прошлую зиму и в позапрошлую ушли многие.

Атнер кивнул и больше ничего не спросил. Он подлил городецкому пива и спросил про соль. Городецкий удивился и стал рассказывать про соль.

Ирпике, убирая, посмотрела на мужа один раз, быстро, и ушла за печь.

* * *

Ночью он считал.

Обыкновенно он считал меры: сколько в общем амбаре, сколько на семена, сколько недель до новины, сколько едоков. Эти числа он знал так же, как знал свои руки, и считал их вслух, чтобы услышать, что они на месте. Сегодня он считал другое, и считал с биркой, потому что в голове это не держалось.

— Луков, годных на войну, — сказал он в темноту. — Сорок один.

Он вёл пальцем по зарубкам. Он ходил сегодня по дворам сам, будто за долгом, и смотрел. Не охотничьи, из одного дерева, а клеёные, степные, какие держат со старых времён и не натягивают годами. У Ирса два. У Салиха один, авангардный. У Сарпи один, её, с того лета. У Вирыса один. У Кужеватовых три. Остальные по одному на двор, у тех, кто помнил, где у лука плечо.

— Рогатин девять.

Девять — со старым железом, с перекладиной. Остальные рогатины в трёх сёлах были на медведя, и на медведя они годились.

— Шлемов три. Салихов. Гордятин. Мой.

Свой он не надевал тринадцать лет. Шлем лежал в сундуке, в тряпице, смазанный.

— Кольчуга одна. Салихова.

Салих надевал её на *Кёр сәри* «осеннее поминальное пиво» раз в год, показать внукам, и снимал, потому что тяжело.

— Щитов нет.

Он помолчал.

— Щитов нет, — повторил он.

— Досок полно, — сказала Ирпике с печи.

Он думал, что она спит.

— Доски есть, — согласился он. — Обтянуть нечем. Кожи на обувь не хватает.

Ирпике больше ничего не сказала. Он слышал, как она повернулась к стене. Потом опять повернулась.

— Сорок один, — сказал Атнер. — Девять. Три. Одна.

Числа стояли ровно и ничего не значили, потому что не с чем было их сложить. Сколько надо — он не знал. Он знал только, что на Суре тринадцать лет назад было больше, и было мало.

Он начал сначала, потому что всегда начинал сначала, когда уставал.

— Сорок один.

— Спи, — сказала Ирпике.

Он не лёг. Он сидел за столом, положив руки на бирку, и думал о том, что городецкий не врал: люди, которые врут за постой, врут интереснее. Городецкий говорил скучно. И о том, что кипчаки уходят вторую зиму. Кипчаки не уходят просто так, у них не бывает «просто так», у них бывает трава и вода.

Он думал ещё о том, о чём думал редко, потому что думать об этом было нечем помочь. Тринадцать лет назад в лес ушли девять сёл — меньше двух тысяч, со стариками и грудными. Сувар было больше. Их было столько, что никто не считал: по Волге, по Каме, вокруг самого Суvara, сёла на сёлах, и половина из них к тому времени ходила в мечеть, а половина нет, и все остались. Мать осталась в Хурәнвар, при столбе своего брата. Сехвер, материн двоюродный, схоронив слепую мать, ушёл под Сувар, к суварскому беку, и стал там молиться по-булгарски, а сын его Тенекей ездил к ней на покос. У Ирпике в Шәхаль осталась старшая сестра, Хёвелпи, за Таймасом, с четырьмя детьми: Таймас тогда сказал, что от своей печи не уходят, и сказал ещё кое-что, и с тех пор Атнера к себе на двор не пускал, а Ирпике не спорила ни с ним, ни с мужем. В Болгаре, за третьей улицей от восточных ворот, жили отцовы сыновья от второй жены, Бурхан и Идрис, булгары, которым Атнер приходился старшим братом по закону и никем

по жизни; Бурхан, говорили проезжие, выучился письму. У Курака в Тикаш осталась сестра с детьми. У Хурсә в Шәхаль — братья. У Сарпи под Суваром — могилы и тётки. У Салиха в Великом городе брат. В трёх сёлах на третьей реке не было двора, у которого там никого не осталось. И если кипчаки уходят от Яика, то те, от кого они уходят, пойдут потом не на третью реку. Они пойдут туда, где сёла на сёлах.

Под утро он встал и вышел поить скотину, хотя скотину поил Ятман.

* * *

Молодых он собрал на лёд после полудня, когда управились со скотиной.

Пришло двадцать шесть — из Сёне Юман и восемь из Хурәнләх, кто успел к полудню. Стояли на льду кучей, в тулупах, и смотрели на него, и не понимали, и некоторые смеялись, потому что не понимали.

Тукташ пришёл последним. Он постоял с краю, посмотрел, как Салих и Гордята тащат к реке на саях доски, снопы и две рогатины, и подошёл к Атнеру.

— Ты что, опять? — спросил Тукташ.

Тукташу было двадцать пять. Тринадцать лет назад он пришёл на Суру пешком, мальчишкой, и сказал, что ему шестнадцать, и ему не поверили и оставили. Потом он нёс головню девятнадцать дней, и огонь в трёх сёлах был от его головни. Теперь он был *юмәс* «сказитель», после Ярмула, и помнил роды, и по-юмәсему смотрел на людей так, будто уже прикидывал, куда их поставить в круг.

— Я — нет, — сказал Атнер. — Лес пусть умеет.

Тукташ посмотрел на лёд, на снопы, на Гордята.

— Лес и так умеет, — сказал он.

— Лес умеет от медведя, — сказал Атнер. — От медведя строем не стоят.

Тукташ ничего не ответил и остался смотреть.

* * *

Снопы поставили на льду в ряд, на сто шагов. Сто шагов отмерил Атнер сам, ногами, по снегу, и Ятман шёл за ним и считал вслух, пока Атнер не велел считать про себя.

Стреляли из тех сорока одного, по очереди, по три стрелы. Ирсай стоял рядом с каждым и ничего не говорил. Он был буртас, стрелок, жил в Сёне Юман двенадцатый год и говорил редко, и когда стрелок промахивался, Ирсай поднимал руку и поправлял ему локоть, не касаясь, в воздухе, и следующая стрела шла ближе.

Из первых двадцати стрел в снопы вошли четыре.

— На сто шагов человек больше снопа, — сказал кто-то, оправдываясь.

— Человек ещё и бежит, — сказал Ирсай.

Потом Гордята строил их в ряд.

Досок-щитов было двенадцать — тёсанные, в рост по пояс, с поперечиной для руки. Гордята ставил парней плечом к плечу, каждому в левую руку доску, и заставлял держать край своей доски у края соседней, внахлест.

— Плечом, — говорил он. — Плечом его чуй. Не рукой. Рукой ты его не почувешь, пока он не побежит.

— А если он побежит?

— Тогда ты тоже побежишь, — сказал Гордята, — и вас обоих возьмут со спины. Поэтому плечом.

Строй стоял на льду неровно, как забор после паводка, и парни то и дело поскальзывались и хватались друг за друга, и хохотали, и Гордята не мешал им хохотать, а только ставил обратно.

Салих учил держать рогатину.

— От земли, — говорил он. Он говорил по-суварски врасстяжку, по-булгарски, и оттого казалось, что он всё время терпелив. — Конец в землю. В лёд. Под ногу. Не ты его держишь — земля держит. Ты только направляешь. Конь сам придёт.

Он упёр рогатину пяткой в лёд, наклонил остриё и показал, куда оно смотрит: в грудь невидимому коню.

— А коня разве можно? — спросил парень из Хуря́нлăх. — В коня?

Салих посмотрел на него, потом на Атнера.

— В коня не бьют, — сказал Атнер. — На рогатину он сам идёт. Остриё — для того, кто сверху. Коня останавливает то, что ему страшно.

Парень подумал и кивнул, но видно было, что не понял и не поймёт, пока не увидит.

Старики стояли на берегу и ворчали. Зимой люди дрова возят, а не бегают по льду. У Долгого не вывезено с делянки. У Хурсă сани без полоза. Какая война в *раштав*«декабрь»? Кто воюет в раштав?

— Кто придёт, тот и воюет, — сказал им Курак и пошёл на лёд.

* * *

Яму Атнер велел рыть в сугробе у берега, где намело по пояс.

Её вырыли в два шага шириной и в рост глубиной, до земли, и прикрыли жердями, а жерди — лапником, а лапник присыпали снегом, и Атнер сам ровнял снег ладонью, пока на месте ямы не стало так же, как вокруг.

— Это зачем? — спросил парень из Хуря́нлăх.

— Чтоб видели, — сказал Атнер, — как конь ногу ломает.

Стало тихо. Даже старики на берегу замолчали.

— Кто поведёт? — спросил Атнер.

Никто не двинулся. Конь стоял на берегу, Урхасова кобыла, тихая, и смотрела на них. Урхас взял её за повод и отвёл подальше, за сани.

Атнер знал, что так будет. Он и не собирался. Он хотел, чтобы они стояли и смотрели на ровный снег и знали, что под ним яма.

Курак подошёл к пустым саням, на которых возили доски, перевернул их на полозья, упёрся в задок и покатил. Сани пошли по насту легко, быстро, и на том месте, где была яма, передок ухнул вниз, и сани стали торчком, задком в небо, и замерли.

Курак постоял над ними, отдуваясь.

— Вот, — сказал он. — Так.

Все смотрели на сани. Кто-то засмеялся, неуверенно, и перестал.

— На Суре мы их в *Синсе*«неделю, когда землю не тревожат» рыли, — сказал Курак, отряхивая рукавицы. — Хлеб на край клали. Земля не писарь, она простила. — Он посмотрел на ровный снег вокруг ямы. — Снег, я думаю, тоже простит. Снег сам всё прячет.

Сани вытаскивали вшестером. Одна оглобля треснула. Хурсă, чьи были сани, сказал с берега всё, что думал.

* * *

Ятман пришёл на лёд во второй день.

Он стоял у берега и смотрел, как стреляют, и не просился, и Атнер видел, что он не просится, потому что боится услышать «нет». Тогда Атнер подозвал его сам.

— Стрелы после каждого круга собирают со снега, — сказал он. — Их надо считать. Сколько ушло. Сколько нашли. Сколько потеряли.

Ятман посмотрел на него.

— Все?

— Все.

— А потерянные как считать? Их же нет.

— Вот их и считай, — сказал Атнер. — Которых нет. Это важнее.

Ятман пошёл за стрелками с биркой. Он стоял за спиной у каждого и резал зарубку на каждую выпущенную стрелу. Потом шёл к снопам с парнями и считал, что вытащили из снопов и что подобрали на льду и в снегу за ними. Потом вычитал. Потом шёл обратно и говорил Атнеру.

— Шестьдесят три ушло. Пятьдесят восемь нашли. Пять нет.

— Где искали?

— За снопами. До сугроба.

— В сугробе искали?

Ятман подумал.

— Нет.

— Ищи в сугробе.

Он искал в сугробе, по пояс, руками, и нашёл две. Потом ещё одну, в стороне, где никто не думал. Потом пришёл, мокрый по грудь, и сказал:

— Две нет.

— Две, — сказал Атнер. — Запиши.

Ятман записал. Отдельной зарубкой, поперёк, как пишут долг.

Вечером, дома, он сидел на полатах и смотрел на бирку, и Атнер видел, что он считает не зарубки, а две поперечные. Две стрелы за день. Сорок одна стрела за месяц, если так стрелять. Ятман, наверное, уже это сосчитал.

Атнер ничего не сказал. Он подумал, что две стрелы в день — это мало и что Ятман этого пока не знает, и что лучше ему этого и не знать.

* * *

Ночью Атнер вышел в *лаç* «летнюю кухню».

Он вышел в одной рубахе, накинув тулуп на плечи, и взял с собой из печи уголь в горшке, но не зажёл ничего, а поставил горшок на холодный очаг. От углей шёл красный свет, на ладонь вокруг, и дальше была темнота.

Лаç зимой стоял холодный: в нём варили летом. Пахло старым дымом и морозом. На заднем столбе висели хомут, серп, связка лыка. И личина.

Он снял её с гвоздя.

Он не снимал её с того дня, как повесил. Ирпике снимала, когда мела, и отскабливала нагар, и вешала обратно, а он не снимал ни разу. Теперь он хотел посмотреть одно: не про-ржавела ли она изнутри, у заклёпок, где ремешок, — потому что снаружи ржавчину видно, а изнутри нет, и изнутри она ест быстрее.

Он поднёс её к углям и повернул. Свет пошёл по железу — не золотом, а просто светом. Он провёл большим пальцем по краю прорези, изнутри, потом снаружи. Ржавчины не было. Войлок был сухой. Ремешок задубел, но не треснул.

Он подержал её.

Потом надел.

Он не собирался. Руки сделали сами, как делали тогда, сотни раз: поднять, накрыть лицо, придержать снизу, застегнуть ремешок под подбородком на третью дырку. Ремешок застегнулся на третью. Личина легла на лицо так, будто её не снимали.

Внутри пахло старым войлоком. И ещё чем-то. Он постоял, пока не понял чем: его собственным дыханием, тем, которое осталось в войлоке тринадцать лет назад. Потом, жарой, пылью, конской мокрой шерстью. Тем летом.

Мир сузился до двух полос. В одной — красный край углей. В другой — чернота.

Он стоял и не двигался. Он думал — не словами, а так, как думают руками: что личина цела, что ремешок держит, что шлем в сундуке смазан, что сорок один лук и девять рогатин и три шлема и одна кольчуга, и что щитов нет, и что кипчаки уходят вторую зиму.

Сзади скрипнуло.

Он повернул голову — всю, как в ней приходилось поворачивать, — и увидел в дверном проёме, на снегу, маленькую фигуру. Мальчик стоял в одной рубахе, босой на снегу, и смотрел на него.

Ятман стоял и смотрел, и Атнер видел в прорезь, как он смотрит: не так, как смотрят на отца. Так смотрят на чужого, который ночью оказался в своей летней кухне, у холодного очага, с железным лицом, в котором красным отсвечивают угли. Мальчик не бежал и не кричал. Он стоял и держался рукой за косяк.

Атнер поднял руки, расстегнул ремешок и снял личину.

Лицо сразу обожгло холодом.

— Это я, — сказал он.

Ятман выдохнул. Атнер услышал, как он выдохнул, — длинно, будто всё это время не дышал.

— Я видел, что свет, — сказал Ятман. — Думал, пожар.

— Нет пожара. Иди спать. Ноги отморозишь.

Ятман не ушёл сразу. Он смотрел на личину в отцовых руках.

— Она не ржавая? — спросил он.

— Не ржавая, — сказал Атнер.

Он повесил её на гвоздь, ремешком, как висела, взял горшок с углями и вывел сына из лаг, положив ему руку на затылок, как клал утром у дуба. Затылок был холодный.

Глава 5. Соль вчетверо

Сарпи. Майн Таяпа, январь 1236 года

Выехали по первому накатанному санному, когда Сура встала крепко.

Подвод было две. На первой лежало полотно, девять кусков в рогоже, и сверху пояса, свёрнутые в трубку и перетянутые лыком. На второй ехали *тевет* «наплечные перевязи с раковинами и бляшками», шитые за осень, в лубяной коробке, корзина чулок и мешок сушёных грибов, который Кёмёлпи взяла сама, никого не спросив: грибы в Таяпе брали всегда.

Женщин было четыре. Сарпи, Илемпи, Кёмёлпи и Кайякки, которая ехала не торговать, а к сестре. Виряс ехал с ними, потому что дорога шла шесть переходов, из них два лесом, и потому что зимой на дороге бывает всякое, и потому что ему было скучно. Он сидел на второй подводе задом наперёд, лицом к лесу, и всю дорогу говорил.

— Сарпи, — сказал он на первом привале. — Тебе сколько лет?

— Тридцать.

— У нас в тридцать уже внуков качают.

— У вас в тридцать помирают, — сказала Кёмёлпи. — Ты сам говорил.

— Это раньше помирали. Теперь качают.

— Ты качаешь?

— Я не баба, — сказал Виряс с достоинством.

Сарпи правила первой подводой и в разговор не шла. Дорога была хорошая, снег лежал ровно, полозья шли легко, и было слышно, как Илемпи за спиной шёпотом разговаривает с лошадью: Илемпи говорила шёпотом со всеми, и лошадь её слушала лучше, чем других.

Тухью Сарпи с собой не взяла.

Тухья «девичья шапочка» лежала дома, в коробе, в мастерской, под холстиной. Сарпи не надевала её десять лет: тухью носят до замужества, в двадцать она её сняла и убрала, и никто в селе об этом ни разу не спросил, и в этом было то хорошее, что бывает в маленьком селе. Серебра на тухье было сорок монет. Тридцать девять обыкновенных, старых, дырявых, с чужими буквами, нашитых ещё матерью. Сороковая, слева, гнутая почти пополам и пришитая не как все, а тремя стежками через дырку и двумя сбоку, чтобы не болталась. Каждую осень, когда в трёх сёлах считали, что есть на худой год, Сарпи говорила: у меня сорок серебряных. Атнер кивал и резал их на отдельной бирке, и за тринадцать лет ни разу не взял.

Лук она взяла.

Она положила его под холсты, на дно первой подводой, в чехле, с тетивой в отдельной тряпице, в утро выезда, когда никто не видел. Тринадцать лет она не брала его на торг. Лук лежал в мастерской в коробе, завёрнутый в холст, и она раз в месяц доставала его, смазывала и клала обратно, как кладут вещь, которую жалко выбросить. Зачем она взяла его в этот раз, она себе не сказала. Взяла, как кладут в корб лишнюю иглу: не нужна — не мешает.

* * *

На четвёртую ночь стояли в марийской деревне у ручья, в шести дворах.

Их положили в двух избах, и Виряс всю ночь рассказывал про своего деда, а хозяин-мариец про своего, по очереди, каждый на своём языке, и понимали они друг друга через слово, и смеялись оба в тех местах, где другой не смеялся.

— О чём он? — спросила Кёмёлпи.

— Про медведя, — сказал Виряс.

— А ты о чём?

— И я про медведя.

— Один медведь на двоих?

— У нас на всех один медведь, — сказал Виряс. — Он к каждому приходил.

Утром хозяйка вынесла на дорогу горшок каши, накрытый тряпкой. Сарпи хотела заплатить, а хозяйка замахала руками и показала на небо, и Илемпи шёпотом сказала, что это значит «дорога длинная». Кашу съели на первом привале, а горшок пришлось везти до Таяпы и назад, до той же деревни, потому что горшок был хороший и не отдать его было нельзя.

* * *

Мя́н Таяпа стоял на месте.

Дорога вышла из леса, и Сарпи увидела валы — два ряда, в снегу, и на верхнем валу берёзы, которых тринадцать лет назад не было, а теперь были в руку толщиной. Ворота открыты. Стражник у ворот грелся, переступая.

— Чьи? — спросил он.

— Мастерницы, с третьей реки, — сказала Илемпи.

— Громче.

— С третьей реки, — сказал за неё Виряс. — Они тихие, а я громкий.

Стражник посмотрел на полотно, на Виряса и махнул рукавицей.

Торг стоял между валами, как всегда. С одной стороны мусульманский конец: склады, весы, две лавки с товаром из-за Волги и меняла под навесом. С другой суварский и мордовский: торговали с саней и с рогож, прямо на снегу. Между концами ходили все и ко всем, потому что торг.

Сарпи встала со своим полотном там, где вставала всегда, между сетевщиком и бабой с горшками, развернула один кусок для показа, остальные оставила в рогоже. Полотно её знали. Она не хвалила его и не разворачивала целиком: так делают те, у кого товар средний.

К полудню она продала два куска, дешевле, чем в позапрошлую зиму. Не потому, что полотно стало хуже, а потому, что покупатель ходил дольше, торговался злее, отходил, возвращался и опять отходил.

— Мало берёшь, — сказала Кёмёлпи.

— Беру, сколько дают.

— В прошлую зиму давали больше.

— В прошлую зиму, — сказала Сарпи, — тут ходили два купца с Камы. Сегодня ни одного.

* * *

Соль спросили у того, кто торговал ею всегда.

Он был немолодой булгарин с грыжей, сидел на бочке и торговал солью двадцать лет, и Сарпи брала у него соль каждую зиму, сколько ездила в Таяпу.

Она спросила цену. Он сказал. Сарпи переспросила: думала, ослышалась. Он повторил.

— Это вчетверо, — сказала Сарпи.

— Вчетверо, — согласился купец.

— Против прошлой зимы.

— Против прошлой зимы. А против позапрошлой — впятеро.

Сарпи стояла и считала. Соли надо было на три села: людям, скотине, на солонину, на кожи. Осенью считали восемь пудов. На восемь пудов по этой цене не хватало ни полотна, ни поясов, ни всего, что лежало на двух подводах.

— Отчего? — спросила она.

Купец начал объяснять.

Соль идёт снизу, с низовий, говорил он, и дорога стала дорогая. Перевоз, и плату берут дважды, и весной барку затопило. Дорогу он мерил, как мерят купцы, днями. От низовий до Болгара, говорил он, по горе — двадцать дней, по лугу — пятнадцать. Да от Болгара сюда шесть. Вот и выходит тридцать, а в тридцать дней соль даром не ходит.

— По лугу пятнадцать да шесть — двадцать один, — сказала Сарпи. — По горе двадцать да шесть — двадцать шесть. Тридцать у тебя не выходит ни так, ни так.

Купец посмотрел на неё. Баба с горшками, соседка, хихикнула в рукавицу.

— По горе ещё переправа, — сказал купец. — Два дня.

— Тогда двадцать восемь.

— И ждать у переправы.

— Сколько ждать?

Купец подумал.

— Как когда, — сказал он.

— Барку затопило весной, — сказала Сарпи. — А цена с позапрошлой зимы.

— Дорога, хозяйка, — сказал купец и развёл руками, — никогда не та же.

Он отвернулся к другому покупателю, и Сарпи видела по его спине, что он сам не знает, отчего соль вчетверо. Человек, который двадцать лет торгует одним товаром, умеет объяснить цену так, что уходишь довольный. Этот не сумел. Значит, не знал.

Она взяла три пуда. Больше не хватило.

* * *

Он подошёл к её полотну на второй день, когда торг уже редел.

Высокий, худой, в тулупе, подпоясанном по-булгарски, с кушаком на два оборота, и в шапке с меховым оком, как носят в Суваре. Но ворот, видный из-под тулупа, был суварский, круглый, широкий, шитый красным по кругу, как шили в суварском конце у самой стены. Сарпи прочла ворот раньше, чем подняла глаза на лицо.

— Ты Сарпи, — сказал он. — Из-под стены. Материн двор у колодца.

Она подняла глаза.

Лицо было длинное, тихое, с бородой, которой тогда не было, и она узнала его не по лицу, а по тому, как он стоял: немного боком, будто всё время ждал, что его толкнут.

— Энтри, — сказала она.

— Энтри, — сказал он.

Тринадцать лет назад ему было семнадцать. Он стоял у амбара в Суваре и не понимал, что его не берут в обоз работником за материн долг, а мать его поняла раньше и отпустила столб. Долг тогда заплатил Атнер — сорок серебряных, из казны отряда. Сарпи стояла рядом и видела.

— Ты здесь как? — спросила она.

— Бочки вожу. Я бондарь теперь. По льду через Волгу, пока лёд. В Таяпе бочку берут дороже, чем у нас.

— Мать?

— Жива. Сестры замужем. Одна за булгарина, в мечеть ходит. Другая за нашего, в рошу. — Он помолчал. — Я сам — когда куда. Жена у меня в мечеть. Я с ней хожу, стою у двери. А на *Кёр сәри* «осеннее поминальное пиво» к отцу на *масар* «кладбище» пиво ношу. Никто не спрашивает.

Сарпи кивнула. Так было и тогда: в Суваре никто не спрашивал.

— Как там? — спросила она. — В Суваре.

— Тесно, — сказал Энтри. — Народ идёт. С Камы, снизу. Сувары, булгары — все идут. Говорят, там конные ходят, чужие. Кто говорит — не знаю. Все говорят.

Он взял край полотна двумя пальцами и потёр, как трут, когда не знают, что делать с руками.

— Вы ушли, — сказал он. — А мы остались.

Он сказал это без обиды и без укора, как говорят «зима ранняя».

— Нас позвали уйти, — сказала Сарпи. — Кто хотел.

— Я знаю. Я не хотел, — сказал Энтри. — Мать не хотела. Там отец лежит. — Он отпустил полотно. — Ты ему скажи.

— Кому?

— Ему. Который долг платил. Скажи, что я бондарь. Что двор чистый. Что мать жива.

— Сам скажешь, — сказала Сарпи.

— Где я ему скажу? Он в лесу.

— Лес не за морем.

Энтри посмотрел на неё, потом на полотно, и ничего не ответил. Он купил у неё пояс, не торгуясь, заплатил целым дирхемом, хотя пояс столько не стоил, и ушёл к своим бочкам, и она видела, как он запрягает, стоя боком, будто ждёт, что толкнут.

Вечером Илемпи спросила шёпотом, кто это был.

— Из наших, — сказала Сарпи. — Из тех, кто остался.

— Много их там, оставшихся?

Сарпи подумала о суварском конце у стены, о трёх улицах за ним, о сёлах вдоль Волги, мимо которых она шла тогда с обозом два дня и не видела им конца.

— Больше, чем нас, — сказала она.

* * *

Железо брали у простого кузнеца в мусульманском конце, который держал у себя и полосу, и обрезки, и гвоздь, и брал иногда товаром.

Ирпики просила железа, а не серебра. Перед отъездом она сказала коротко, как говорила всё: «Серебро мне ни к чему. Мне полосы. И уклад, если дадут». Сарпи отдала за железо три куска полотна и пояс. По деньгам это был плохой обмен, и она это знала, и кузнец это знал, и оба сделали вид, что довольны.

— Уклада нет, — сказал кузнец. — Уклад приходил из-за Волги. Не приходит.

— С весны?

— С той весны. Гвоздём отдам, если хочешь, а уклада нет.

Иглы были. Шесть, в холстинке, и четыре из них с отбитыми ушками, из тех, что продают дешевле, потому что нитку в них вдевать мука. Сарпи взяла все шесть. Целые для работы, битые — чтобы шить то, что не жалко, и не разучиться шить битой.

Тевети ушли хорошо, все четыре, за серебро, одному приказчику из мусульманского конца. Он считал раковины, поворачивал к свету, нашёл на одном тевете шов, который ему не понравился, и сбил цену.

— Шов внутри, — сказала Сарпи. — Его не видно.

— Я его нашёл.

— Ты его искал.

Приказчик засмеялся и цену всё равно сбил, но меньше, чем хотел.

Меняла под навесом взвешивал серебро на весах, как вешают серебро, которому не верят по счёту.

— Целых дирхемов мало, — сказал он, не поднимая головы. — Из-за Волги не везут. Второй год ходит то, что тут ходило.

Мастерицы в тот торг взяли всё хуже, чем брали. Кёмёлпи продала грибы и купила на всё медную бляшку, одну, и потом всю дорогу жалела.

* * *

Вечером сидели у котлов за валом, где ночевали приезжие.

Котлы были общие: у кого дрова, у кого крупа, у кого котёл. Бабы сидели своим кругом, мужики своим, ближе к лошадям, но слышно было всем.

Приезжий из-за Волги сидел у мужиков и говорил громко, как говорят люди, которым нечем больше платить за место у котла. Он шёл из-под Болгара с двумя подводами и сказал, что на Яике опять побили сторожу.

— Чью? — спросил кто-то.

— Нашу. Булгарскую. Стояла на реке, и её побили.

— Когда?

— Летом.

Старик из таяпинских, сидевший с краю, покачал головой.

— Это давно было, — сказал он. — Годов семь назад. Мне шурин рассказывал, он у пристани служил.

— Я говорю — летом.

— А я говорю — семь лет.

Они заспорили. Старик считал по тому, в какой год у него сгорела баня. Приезжий считал по тому, когда он был у ворот Болгара и что там слышал. Года ни один не назвал: считали по событиям, а события у них были разные.

— Значит, дважды били, — сказал кто-то, чтобы помирить.

— Дважды, — сказал старик. — Тем хуже.

— Чем хуже?

Старик не ответил: ему подали каши.

Сарпи запомнила из всего вечера это место, и запомнила не слова, а то, что после «тем хуже» у котлов долго никто ничего не говорил, и было слышно, как в котле булькает.

* * *

Обратно шли шестой день. Лесом, потом по Суре, по льду, потом на волок — через сухую гриву, где дорога с Суры на третью реку переваливает через лес.

На волоке их ждали.

Сарпи увидела их первой, потому что правила передней подводой. Трое вышли из ельника на дорогу шагах в сорока и стали поперёк. Бородатые, в рваных тулупах, один в валяной шапке, двое в рукавицах, и в руках у всех троих дубьё — толстые суковатые палки, какие вырубает, когда нет топора. Ни коней, ни саней. Беглые — было видно по тому, как стоят: не как разбойники, а как люди, которые неделю не ели и решили.

— Стой, — сказал тот, что в шапке. По-булгарски, с камским выговором.

Сарпи остановила лошадь.

— Хлеб есть? — спросил он.

— Есть, — сказала Сарпи.

— Давай всё. И лошадь.

Илемпи за её спиной не сказала ничего, даже шёпотом. Со второй подводой, сзади, скрипнуло: Вирыс слез. Сарпи слышала, как он слез, но не оборачивалась.

— Хлеб дам, — сказала она. — Лошадь не дам.

— Сами возьмём.

Трое пошли. Не быстро. Шагах в тридцати тот, что в шапке, поднял палку.

Сарпи наклонилась, сунула руку под холсты и вынула лук.

Тетиву она надела тут же, на колене, в два движения, так, как надевала тринадцать лет назад под Суваром и на Суре, и руки сделали это сами, без неё, и она удивилась не тому, что руки помнят, а тому, как быстро. Стрела была в колчане, под тем же холстом, девять стрел, она их не считала, когда клала, — сосчитала теперь, пальцами, не глядя.

Трое остановились.

— Бабе лук не натянуть, — сказал второй, тоже по-булгарски.

Сарпи натянула. Не до уха — до щеки, как тянут, когда близко, и когда надо не далеко, а точно. Она целилась не в человека. Она целилась в шапку.

Стрела ушла с коротким звуком. Шапка слетела с головы того, кто был впереди, и упала в снег позади него, и стрела осталась в ней, торчком.

Он постоял. Потом медленно поднял руку и потрогал голову. Голова была цела.

Сарпи уже наложила вторую.

— Хлеб положу на дорогу, — сказала она. — Уйдёте в лес — заберёте. Не уйдёте — вторая пойдёт ниже.

Сзади, у второй подводой, стоял Вирыс с охотничьей рогатиной. Он не шёл вперёд и не говорил ничего. Он просто стоял так, чтобы трое его видели.

Трое смотрели на стрелу, на лук, на Вирыса. Потом тот, что был без шапки, повернулся и пошёл в ельник, не за шапкой, а прямо в лес, и двое пошли за ним, и один оглядывался, пока не скрылся.

Сарпи держала тетиву, пока они не ушли за ели. Потом отпустила, медленно, и сняла стрелу.

— Илемпи, — сказала она, не оборачиваясь. — Каравай.

Илемпи подала каравай. Сарпи слезла, прошла к тому месту, где упала шапка, положила каравай в снег рядом, вытащила из шапки свою стрелу, осмотрела наконечник, стряхнула снег и вернулась.

Шапку она оставила.

Вирыс смотрел на неё. Он смотрел долго, всё время, пока она шла туда и обратно, и потом, когда она сняла тетиву и убрала лук под холсты. Он ничего не сказал, и это было странно, потому что Вирыс говорил всегда.

— С камским выговором, — сказала Сарпи, когда тронулись. — Из-под Камы.

— Слышал, — сказал Вирыс.

— С Камы люди бегут по лесам.

— Бегут, — сказал Вирыс.

* * *

До вечера Вирыс молчал. Потом, в последний переход, когда пошёл снег, пересел к ней на переднюю подводу и сел рядом, лицом вперёд, а не назад, как ездил всегда.

— Сарпи.

— Ну.

— На Суре второй год не чинят гать.

Сарпи переложил вожжи.

— Какую гать?

— Ту, что у переволока, через болото, ниже этого. Её каждый год чинили в межень всем селом. Настил перекладывают, жерди меняют. Я по ней двадцать лет ходил. В позапрошлом лето она была плохая, я спросил, кто чинит, сказали — соберутся. Теперь по ней не ездят. Объезжают верхом, сухим, лишних полдня.

— Может, поленились.

— Два года подряд? Всем селом?

Сани шли. Снег садился на рогожу, и Сарпи сбила его рукавицей, чтобы соль не отсырела.

— Гать не чинят по двум причинам, — сказал Вирыс. — Либо по ней некому ездить. Либо оттуда некому прийти чинить.

— Почему ты мне это говоришь? — спросила Сарпи.

Вирыс подумал.

— Потому что ты считаешь и не пугаешься, — сказал он.

— Атнеру скажи.

— Скажу вечером. Он послушает и спросит, сколько дней объезда. Я скажу — полдня. Он скажет: значит, к жатве успеют. И будет прав.

— А ты?

— А я не считаю. Я хожу и смотрю, где что не сделано. — Он помолчал. — И смотрю, кто что делает. Ты в шапку метила?

— В шапку.

— С сорока шагов.

— С тридцати пяти, — сказала Сарпи. — Он шёл.

Вирыс кивнул, будто так и думал, и пересел назад, на вторую подводу, лицом к лесу.

* * *

Над селом стоял дым, ровно, столбами. Сарпи сосчитала дымы, как считала всегда, подъезжая. Сорок один из сорока шести.

Соль она сдала Атнеру у амбара, три мешка, и сказала, сколько это на двор в неделю, прежде чем он спросил. Он спросил, почему три. Она сказала про двадцать восемь дней, которых не выходит, и Атнер сказал, что не выходит, и больше про соль не спрашивал. Железо она отнесла Ирпике в кузню сама. Ирпике посмотрела полосы, одну согнула на колене и сказала: «Мягкое. Сойдёт». Про уклад ничего не сказала.

Про волок Сарпи не сказала никому. Сказал Вирыс, в тот же вечер, у Кужеватовых, и к утру знали все три конца, и в каждом конце по-своему: в одном она сбила шапку, в другом ухо, в третьем их было семеро.

Вечером, в мастерской, когда все ушли, она сняла лук со стены — он висел там с тех пор, как она повесила его, вернувшись, — и села к светцу.

Она смазала лук жиром, по плечам, медленно, от середины к рогам, и протёрла тряпицей. Осмотрела тетиву. Тетива была старая, из жил, и в одном месте, у петли, распушилась, и Сарпи отложила её в сторону — делать новую. Пересчитала стрелы: девять. Одну, с волока, осмотрела ещё раз: наконечник цел.

Короб стоял у стены. Там, под холстиной, лежала тухля, и там же, внизу, было место, где лук лежал все эти годы, завёрнутый в холст.

Сарпи посмотрела на короб.

Потом повесила лук обратно на стену, на гвоздь у двери, где его видно с порога, и колчан рядом, и задула лучину.

Глава 6. Сторожа у Яика

Ахан. Яик, стан и брод, июнь 1236 года

Траву у воды выбили за три дня.

Сначала там, где поили, потом выше по берегу, потом на версту от берега, и на четвёртый день коней стали гонять пасти за холмы, а к воде водить по двое в поводу. Ахан посылал своих в очередь и ходил сам через раз. Вода у берега шла мутная и тёплая, и кони пили её неохотно и долго, отфыркиваясь.

Дым стоял по всему низу, сколько было видно, а там, где дыма уже не было видно, стояла пыль.

— Сколько тут? — спросил мальчишка с хорошим конём.

— Не знаю, — сказал Ахан.

— А сотник знает?

— Сотник знает свою сотню.

Мальчишка помолчал и спросил, кто же знает всё.

— Никто, — сказал Ахан.

Так оно и было. Считали десятками, десятки сводили в сотни, сотни в тысячи, и каждый на своём месте считал верно, и наверху из верных чисел складывалось одно, которого никто не видел глазами. Ахан видел стан с седла и до ближнего холма. За холмом было то же, и за следующим то же, и это было всё, что он знал. Однажды с гривы, куда его посылали смотреть брод, он начал считать полосы дыма и на двадцати понял, что считает не то: полосы сливались, и где кончалась одна тысяча и начиналась другая, видно не было.

Кизяка не хватало. Варили через раз. Ахан велел своим не жечь огня дважды в день, и свои не жгли, а грелись у чужого.

* * *

Смотр был на шестой день, с рассвета.

Сотни стояли по тысячам на ровном, вдоль реки. Вдоль строя ехали — сперва тысячник со своими, потом ещё кто-то, потом те, кого Ахан не знал в лицо и о ком не спрашивал. Останавливались перед каждой сотней. Сотник называл: людей столько, коней столько, заводных столько. У десятков спрашивали не всегда. У Ахана спросили.

— Сколько?

— Девять и я, — сказал Ахан.

— Коней?

— Двадцать два.

Тот, кто спрашивал, смотрел не на него, а вдоль строя. У троих в соседнем десятке пересчитали стрелы при всех, и вышло меньше, чем сказал десятник, и десятнику сказали слово, которое Ахан слышал и раньше, и десятник стоял.

Потом проехали. Всё вместе заняло до полудня, и половину этого времени стояли и ждали, и кони мочились под всадниками, и мальчишка с хорошим конём задремал в седле и проснулся, когда конь переступил.

Хорезмиец шёл за смотром пешком, с доской. За ним нёс фонарь мальчишка, хотя было светло: фонарь был при должности. Он дошёл до Ахана, когда уже распустили.

— Девять и ты, — сказал писец, не спрашивая.

— Девять и я.

— Коней двадцать два.

— Двадцать два.

Писец записал справа налево, быстро, и повёл по строке пальцем, шевеля губами.

— Ты у меня с того лета, — сказал он. — Теперь это есть.

Он подул на строку и пошёл дальше.

Ахан смотрел ему в спину.

Он считал своих каждый вечер в том походе и каждый вечер двенадцать лет дома считал овец, и никто этого не записывал, и от этого счёт был его. Теперь «девять и он» лежало на чужой доске, в чужих буквах. Ему это не нравилось, и он не мог сказать чем. Будто кто-то взял его ложку и ест ею, хорошо ест, аккуратно, и вернёт, а всё равно.

* * *

Сын подъехал к вечеру с четырьмя своими.

Они шли шагом вдоль огней, все в новых поясах, взятых у обоза, и говорили громко, для тех, мимо кого ехали. Сын слез и подошёл.

— Ахан, — сказал он.

Он называл его так со второй недели пути, как все молодые зовут старших, и ни разу с тех пор не назвал иначе. Ахан заметил это сразу и с тех пор ждал, что сын оговорится. Сын не оговаривался.

— Садись.

Сын сел, взял мяса. Лицо у него за зиму и весну обветрилось и стало старше.

— Смотрели вас?

— Смотрели. У нас один стрелы не досчитал, так его перед всеми.

— У нас тоже.

— Наш громче кричал, — сказал сын, и четверо у коней засмеялись, и сын засмеялся тоже.

Потом он спросил, правда ли, что отец здесь был.

— Был.

— И где вы дошли?

— До большой воды. И назад.

Сын подождал рассказа. При четверых рассказ отца — это то, что можно потом пересказать. Ахан рассказа не дал.

— Ну и ладно, — сказал сын без обиды и уехал.

Кривого Ахан нашёл у обозных телег, ниже по реке, где пахло не конями, а кожей и жиром. Кривой сидел на оглобле и правил ремни.

— Я считал, — сказал Кривой, когда поели.

— Кого?

— Наших. Кто тогда на Итиле был. В тысяче трое. Ты. Хархасу. И я.

— Хархасу в третьем десятке.

— Знаю, что в третьем. — Кривой протянул ремень сквозь пряжку. — Только я тогда при телегах был. И Хархасу за телегами стоял. Трое нас, и двое возили.

Он отложил ремень и посмотрел на реку.

— *Гэр хол байна* «Дом далеко», — сказал он.

— Далеко, — сказал Ахан.

У чужого огня, где он грелся на обратном пути, говорил тюрк из соседнего десятка — не ему, а всем сразу, как говорят такое.

— Старик жив, — сказал тюрк. — И идёт с нами.

— Какой старик?

— Тот самый.

Кто-то сказал, что тот старик умер ещё при Хорезме. Тюрк сказал, что не умер. Поспорили без охоты и перешли на кизяк.

Ахан ничего не сказал. Он помнил, что у той большой реки тринадцать лет назад всё делалось по слову одного человека, которого он видел дважды, оба раза издали и оба раза в седле, и что человек этот уже тогда был стар.

* * *

На восьмой день передовую сотню послали к броду выше стана.

Выше — это в полудне хода, где Яик делал петлю и выносил на западный берег песчаную косу, а за косой стоял тальник, густой, в рост всадника. Брод шёл через косу. Ахан помнил его с того раза, когда шли назад на восток: дно каменистое, у правого края яма, повозки проходят, если не гнать.

И ещё он помнил второй брод.

Он вспомнил его ночью, накануне, сам, лёжа на кошме: выше первого, на три перестрела, где река разбивалась на два рукава вокруг острова. По острову можно было перейти, почти не замочив стремян, если знать, где заходить. Тогда, тринадцать лет назад, там переходили заводные табуны, потому что на первом броду было тесно. Он утром сказал об этом сотнику. Сотник выслушал и ничего не ответил, и Ахан решил, что опять будет по-своему.

С гривы над рекой брод был виден весь.

Сотник остановил сотню за гривой, где не видно с того берега, и поднялся наверх пешком, с Аханом и двумя десятниками. Легли в траву.

На том берегу, на косе и за ней, стояли люди.

Всадники. Ахан начал считать по привычке: по коням, у которых головы над тальником, по дымку от костра, который они не таили, по пятнам доспеха. Двадцать пять. Может, чуть больше. Кольчуги у половины, это было видно по блеску, когда кто-нибудь поворачивался к солнцу. Шлемы островерхие. Копья стояли у тальника пучком. Двое сидели прямо на косе, у воды, и смотрели на реку, а один, в красном, ходил между ними — сотник, должно быть, или кто у них вместо сотника.

— Булгарская сторожа, — сказал сотник. — Сторожа у них в сорок голов. Остальные где-нибудь рядом. Стоит не прячется.

— Смотрит, — сказал один из десятников.

— Пусть смотрит, — сказал сотник. — Увидит больше, чем хочет.

Он лежал и смотрел долго. Потом повернулся к Ахану.

— Твой второй брод. Где?

Ахан показал рукой вверх по реке, где за петлёй над водой торчали макушки острова.

— Там. Три перестрела. Заходить с нашего берега от старой ветлы, по мели, к острову. С острова на ту сторону — левее, где рябит.

— Сколько времени?

— Если рысью берегом — пока тут выпустят колчан.

Сотник подумал.

— Половина идёт туда, — сказал он десятникам. — Вторая полусотня. Тихо, за гривой, до ветлы. Остальные здесь. Спускаемся к воде, стреляем через реку. В воду в лоб не лезть. Пусть они смотрят сюда. Когда наши выйдут на их сторону — тогда вперёд.

Десяток Ахана оставался у первого брода. Десяток сына уходил с полусотней вверх. Ахан видел, как сын садится на серого, как проверяет налуч, как четверо его смеются у коней, и сын что-то им говорит, и они перестают смеяться. Сын не оглянулся.

* * *

Они спустились к воде шагом, сотней без половины, растянувшись по берегу, и на том берегу это сразу увидели.

Ахан видел, как на косе встали те двое, что сидели. Как человек в красном махнул рукой, и у тальника разобрали копья, и всадники стали выезжать на косу и строиться — не толпой, а рядами, по пятеро, как строятся люди, которых учили. Никто не кричал.

Река в этом месте была шириной в два хороших перестрела с небольшим. Для степного лука с берега на берег достать было можно, но на излёте.

— Бей! — крикнул сотник.

Ахан натянул и пустил. Он стрелял не в людей — до людей было далеко, — а туда, где стояли кони, в ряд, в середину. Рядом стреляли его девять, и соседние десятки, и стрелы уходили высоко, дугой, и падали на косу. Там завертели кони. Один всадник свалился.

С того берега ответили.

Ахан видел, как у тальника поднялись луки. Их было меньше, чем у сотни, но они стреляли вместе, разом, и стрелы пошли не дугой, а почти прямо, над водой, и упали в воду перед берегом, у самой кромки, с плеском — много, как дождь по луже. Потом второй раз — ближе. На третий раз стрела ткнулась в песок у ног его коня и осталась торчать.

— Щиты! — крикнул кто-то.

У десятка было три щита на всех. Ахан велел держать их перед конями, у воды, и стрелять из-за них. Тот, что смеётся, держал щит и не смеялся. Молчун стрелял медленно и, кажется, попадал. Мальчишка с хорошим конём стрелял быстро, всё время, как сыплют зерно, и Ахан крикнул ему, чтобы считал стрелы, и он не услышал.

Они перестреливались через реку долго. Ахан потом не мог сказать, сколько. У него ушёл один колчан, потом половина второго. В соседнем десятке упал человек и лежал у воды, а конь его ушёл вверх по берегу, и за ним никто не пошёл. На косе упали ещё двое. Над рекой стоял звук — не крик, а свист и частый стук, будто кто-то колотил палкой по натянутой коже.

Человек в красном на том берегу ездил вдоль своих рядов и не стрелял. Он смотрел не на реку. Ахан видел, куда он смотрит: вверх, на петлю, где остров.

«Увидел», — подумал Ахан.

Человек в красном повернул коня и что-то сказал. Не крикнул — сказал, Ахан видел по тому, как ближние повернули головы. И булгары пошли назад.

Не бегом.

Пятеро остались у кромки косы и стреляли. Остальные поворачивали коней и отходили шагом к тальнику, в тальник, за тальник. Потом у тальника остановились другие пятеро и стали стрелять, а те, что были у кромки, пошли назад, мимо них. Потом ещё раз. Ахан видел такое у своих, много раз. У чужих он видел это впервые, и видел, что делают они это не хуже.

— Уходят! — крикнул кто-то.

— В воду! — крикнул сотник.

* * *

Вода была холодная не по времени, быстрая, и в середине брода дошла коню до стремени.

Ахан шёл четвёртым в своём десятке, держа лук над головой, и конь под ним ступал осторожно, щупая дно, и на яме у правого края Ахан отжал его влево, как помнил. Кругом плескало: кони шли в воду рядом, по два, по три, и вода поднималась белыми бурунами у их груди. Впереди, у косы, стреляли пятеро, и стрелы падали в воду вокруг, по сторонам, с коротким злым звуком, будто бросали в реку камешки.

Слева от Ахана шёл тюрк. Стрела вошла тюрку в щит, и щит вырвало у него из руки, и он поймал его уже у самой воды. Справа кто-то вскрикнул и выругался, и Ахан не обернулся.

Он смотрел вперёд. Вверх по реке, у острова, уже шли в воду кони — вторая полусотня, — и он искал среди них серого и не нашёл, потому что далеко, и потому что серых там было много.

Кони вышли на косу. Песок был мокрый, тяжёлый, и кони проваливались в него по бабки. На косе никого не было. Была брошенная сума. Был мёртвый болгарский конь на боку. Были следы, уходящие к тальнику.

И был один человек.

Он стоял у самого тальника, пеший, спиной к кустам, с луком. Старик. Седая борода, кольчуга старого плетения, шлем без бармицы. Конь его стоял за ним, у кустов, в поводу, привязанный к ветке.

Он стрелял.

Он стрелял не быстро, выбирая. Первым выстрелом он снял переднего из соседнего десятка: всадник свалился с седла в воду, а конь вышел на косу один и встал, растерянный. Вторым он попал в щит. Третьим — ещё в кого-то, Ахан не видел в кого, слышал.

За его спиной, за тальником, поднялся дым.

Сухая прошлогодняя трава, в пояс, стояла там стеной до самых холмов. Булгары подожгли её, уходя. Ветер шёл с реки, от воды, и огонь пошёл от реки прочь, вслед за ними, закрывая их дымом. Тальник затрещал. Из-за тальника, из дыма, слышно было, как уходят кони — много, не галопом, рысью, порядком.

Старик стоял у горящего тальника и стрелял.

Он стрелял, пока с косы не выстрелили в него сразу пятеро. Ахан не стрелял. Он видел, как старик сел на песок, будто устал стоять. Лук остался у него в руке. Потом он лёг на бок, лицом к реке.

Дым закрыл тальник совсем.

Сотник кричал, чтобы шли в обход огня, но огонь шёл по ветру быстрее рыси, и кони шарахались от него и не шли.

* * *

Вверху, у второго брода, вторая полусотня вышла на западный берег раньше, чем подошёл огонь.

Там, за островом, в кустах, у болгар стоял свой дозор — полтора десятка всадников, смотревших за верхним бродом: это и были остальные. Их полусотня застала на месте. Ахан этого не видел: он видел потом, что осталось, и слышал, что говорили. Дозор не побежал. Он пошёл вниз по берегу, к своим, прямо на огонь, который шёл им навстречу, и оказался между огнём, рекой и полусотней. Часть ушла вплавь. Часть легла у реки. Пятерых взяли живыми.

Сын вернулся с полусотней к вечеру. Он ехал на своём сером, с опалённой поллой халата, и лицо у него было чёрное от дыма, и он не смеялся. Четверо его ехали за ним, все четверо, и тоже не смеялись.

Ахан сосчитал их издали. Пятеро. Потом, когда подъехали ближе, пересчитал весь десяток сына. Десять.

Он не сказал ничего. Сын тоже.

* * *

Старика нашли на косе, когда огонь ушёл к холмам и дым поднялся.

Он лежал там, где сел, лицом к реке. Тальник за ним выгорел до чёрных прутьев. Лук у него в руке обгорел по одному плечу. Колчан был пустой.

Конь его стоял рядом.

Ветка, к которой он был привязан, сгорела, и повод висел свободно, с чёрным обрывком на конце. Конь мог уйти. Огонь прошёл по тальнику в двух шагах, и у коня была опалена грива с одной стороны. Он не ушёл. Он стоял над стариком, опустив голову, и когда к нему подошли, прижал уши и переступил, заслоняя, но не ударил.

— Хороший конь, — сказал кто-то. — Булгарский.

— В табун, — сказал сотник.

Коня взял тюрк из десятка Ахана. Он подходил долго, боком, говорил с конём по-своему, и конь в конце концов дал взять повод. Когда его повели, он пошёл, но у воды обернулся и заржал, коротко, один раз, и его потянули дальше.

Сын стоял рядом с Аханом и смотрел на старика.

— Почему он не ушёл? — спросил сын.

Ахан смотрел на старика. На сожжённый тальник. На реку, по которой плыла чёрная зола.

— Кто-то должен был, — сказал Ахан.

Сын подождал. Ахан больше ничего не сказал. Он не знал, что ещё тут можно сказать, и знал, что если начнёт, то скажет не то, а то, что надо, не скажет всё равно.

Сын постоял и отошёл к своим.

Старика положили у кромки, как лежал. Никто его не трогал. Кольчугу с него снимать не стали: она была старая, латаная, и сотник сказал, что такую не возьмут и даром. Ахан подумал, что сотник сказал это не из-за кольчуги, но спорить было не с чем.

* * *

Сотник был доволен.

Он объехал косу, посмотрел на следы, на выгоревшее поле за тальником, на пленных, которых привела полусотня, и сказал, что сторожа сбита и дорога на запад открыта. Он сказал это при всех, и сотня зашумела. У сотни было убито трое и ранено семеро. Коней побили больше — от стрел в воде. У болгар на косе, у реки и у верхнего брода легло больше двух десятков, пятерых взяли, сколько-то ушли вплавь, и куда — никто не видел.

Писец-хорезмиец, приехавший из стана к вечеру, ходил по косе с доской и записывал.

Ахан не считал убитых болгар. Он поднялся на холм за выгоревшим полем, откуда было видно далеко на запад, и смотрел на следы.

Трава там выгорела полосой в полверсты шириной, и на чёрном следы коней были видны хорошо, как на снегу. Они шли на запад, рысью — это было видно по шагу, — не рассыпаясь. Кучно. Ахан спустился, прошёл по следу, присел, посчитал отпечатки подков на одном месте, где кони прошли по мягкому. Потом поднялся на следующий бугор и посмотрел ещё.

Девять.

Девять всадников. Может, с заводными, но скорее без: заводные у сторожи стояли за тальником, и там, где стояли, лежал теперь пепел и две мёртвые лошади. Ещё пара следов ушла отдельно, в сторону — кони без всадников, кажется, лёгкие, без груза; эти, наверное, догонят своих сами.

Девять ушли. Порядком, не бросив раненых — один конь шёл тяжело, под двумя, это было видно по глубине следа.

Ахан стоял на бугре и смотрел на запад, куда уходил след.

Он знал, куда он ведёт. Не по имени — по тому, как идёт. Девять уйдут к своим, к большой реке, к Итилю, и дальше, к городу, из которого их послали. Там их спросят. И они скажут. Скажут, сколько видели дыма. Скажут, как сотня не полезла в воду в лоб. Скажут про второй брод. Про старика на косе. Про то, что за рекой стан, у которого нет края.

И в городе будут знать.

— Ахан! — крикнули снизу.

Он спустился.

* * *

Вечером он сел считать.

Огня своего не жгли, грелись у чужого, и Ахан сел с краю, в полутьме, спиной к общему костру.

Тюрк — отец его пас коней у солёного озера. Мальчишка с хорошим конём, у которого конь теперь был в пене и в засохшей речной грязи до брюха, и он весь вечер его чистил и не жаловался. Братья — трое, четверо. Молчун — пятеро; у молчуна была перевязана рука, стрела на излёте, неглубоко. Тот, что смеётся, — шестеро; он сегодня не смеялся ни разу, и Ахан заметил это и ничего не сказал. Двое из-за хребта — семеро, восьмеро. Девятый, широкий, со шрамом через переносицу, сидел так, чтобы огонь был справа.

— Десять, — сказал Ахан. — Все живы.

Тот, что смеётся, обернулся. Потом засмеялся — первый раз за день, коротко, облегчённо, — и отвернулся.

Ахан сидел и смотрел в огонь.

Десять. Все живы. И девять — там, на западе, на чёрной полосе, идут рысью, не рассыпаясь, один конь под двумя. Он думал о них. Он не хотел о них думать и думал. Будут идти ночью, без огня. Будут менять коней, если есть на что. Будут идти день, два, неделю, сколько там до их города. И дойдут. Он видел, как они уходили, и знал: такие доходят.

Он попробовал представить город, в который они придут, и не смог. Он видел тогда, тринадцать лет назад, только поля, реки, лес по правому берегу и стол. Городов он не видел. Он знал только, что город большой, и что в нём ворота, и что у ворот девятерых встретят и спросят, где остальные.

Раньше он думал о городах, куда шёл, как думают о броде: где вход, где выход, какая глубина. Это была работа.

Теперь он сидел и думал о том, что там, в том городе, этих девятерых ждут. Что где-то там есть двор, в котором ждут одного из них, и двор, в котором ждали того старика и не дождутся. И что, раз там ждут своих, значит, там ждут и его, Ахана, — не так, как своих, а так, как ждут зиму. Знают, что придёт. Считают хлеб. Смотрят на восток.

Он никогда раньше не думал, что его где-нибудь ждут, кроме дома.

Он разгрёб угли у чужого огня, чтобы не ушло тепло, лёг на кошму и долго лежал с открытыми глазами.

Глава 7. Последний двор

Ятман. Переправа Ултимера — Хурйнвар, июль 1236 года

Телеги грузили в сумерках, чтобы выехать затемно.

Клали железо: полосы, увязанные по шести, готовые сошники, гвозди в кадучке, подковы связками по двадцать. Мать укладывала сама и сама проверяла, и один раз велела перевязать, потому что полосы ходили. Воск шёл вторым, круги в холстине, переложённые соломой, в трёх лубяных коробах. Салих отдал больше, чем собирался, и, отдавая, сказал, что если соли не привезут, он этот воск припомнит.

— Привезём, — сказал Курак.

— Восемь пудов?

— Сколько дадут.

Телег было три. На первой Курак, на второй Хурсё, на третьей отец. Ятмана посадили к Хурсё и велели идти пешком, когда пойдёт в гору, а в гору шло часто.

Вечером, накануне, отец выстрогал ему бирку.

Он выстрогал её из осины, при лучине, сидя на пороге: плоскую, длиной в локоть, в два пальца шириной, с четырьмя гранями, и на конце провертел дырку для шнура. Строгал он долго, хотя бирку можно сделать за время, пока закипает вода.

— Это мне? — спросил Ятман.

— Тебе. В дорогу.

— Что считать?

Отец отдал ему бирку и нож.

— Что увидишь, — сказал он. — Там увидишь, что считать.

* * *

Дорогу от третьей реки до переправы колонна шла когда-то девятнадцать дней. Три телеги с железом шли девять.

Старые места начались на шестой день. Сперва пошли поля, каких в лесу не было: большие, ровные, с межами, и хлеб на них стоял чужой, чужими руками посеянный. Потом у дороги стали попадаться дворы, по три, по пять, потом сёла. Из каждого двора выходили собаки. Отец, подходя к чужим воротам, каждый раз поворачивал голову и смотрел вдоль плетня, туда, где обыкновенно вбит столб с собачьей верёвкой. Ятман заметил это на втором дворе и потом следил.

— Ты собак боишься? — спросил он.

— Нет.

— А чего смотришь?

— Смотрю, где привязана, — сказал отец.

В этих сёлах жили сувары. Такие же, как в Сёнь Юман: так же шили ворот, так же ставили во дворе *лас* «летнюю кухню», так же говорили, только быстрее и с другими словами, и на одно и то же говорили не так. Ятман слушал и узнавал через слово. Тринадцать лет назад отсюда ушли девять сёл. Остальные остались. Ятман знал это и раньше, но знал, как знают про Волгу: есть. А теперь ехал по ним полдня, и день, и ещё день, и они не кончались.

Тикаш хули стоял на горе, большой, дворов в сто, с осыпавшимся валом вокруг верхней части, по которому ходили козы. Курак остановил телегу у нижнего края села и ушёл к кому-то, не сказав к кому, и вернулся через час с лукошком яиц, завернутых в лопух, и с лицом, по которому ничего нельзя было прочесть.

— У него сестра тут, — сказал Хурсә тихо, чтобы не слышал Курак. — Не пошла тогда. Муж не пустил.

Курак поставил лукошко под сиденье и молчал до вечера.

Мән Юман прошли на седьмой день, в полдень. Отец остановил телеги у околицы и сходил в село один, к кому-то, и вернулся, и сказал Кураку два слова, и Курак кивнул.

— А где дубрава? — спросил Ятман.

Курак показал кнутовищем.

Дубрава была за околицей, справа от дороги, на пологом бугре. Ятман слез и пошёл к ней, потому что до выезда было время.

В рассказах эта дубрава была такая, что в ней стояло всё правобережье — сёла, обозы, скот, — и в ней прятались от дождя и в ней терялись. Он вошёл и остановился. Дубы стояли редко, между ними было светло, трава внизу выедена, и сквозь дубраву насквозь было видно поле с другой стороны. Он прошёл её поперёк за полтора шага, а обратно за сто сорок, потому что обратно шёл быстрее.

— Ну? — сказал Курак, когда он вернулся.

— Маленькая.

— А ты чего хотел, — сказал Курак. — Она с тех пор не росла. Это ты вырос. — Он подумал и добавил: — И нас тогда было много. От этого всякое место кажется больше.

* * *

Первых встретили на седьмой день, под вечер, у брода через речку, которую Хурсә называл Кәрмәш.

Они шли навстречу, с востока на запад: две телеги, на телегах узлы, за телегами корова, за коровой люди пешком — мужик, две бабы, старуха, дети, сколько, Ятман не успел сосчитать. Они остановились, когда увидели обоз, и мужик пошёл к отцу, сняв шапку.

— Далеко до леса? — спросил мужик.

— До какого леса?

— Где сувары живут. Которые ушли.

Отец посмотрел на телеги, на корову, на детей.

— Девять дней обозом, — сказал он. — Откуда?

— С того берега. Из-под Суvara.

— Продаёте что?

Мужик не понял вопроса.

— Мы не торгуем, — сказал он. — Нам бы кто дорогу показал.

Отец показал дорогу. Долго, на земле, прутиком: вот Мән Юман, вот развилка, вот направо, вот брод, вот ещё брод, вот туда не ходите, там болото, вот тут спросите. Мужик слушал, кивал и держал шапку в руках.

Когда они ушли, отец посмотрел на Ятмана.

— Бирка у тебя, — сказал он.

Ятман понял. Он снял бирку со шнурка, подумал, какой гранью, и сделал так: на одной грани — телеги, короткой зарубкой; на другой — людей; на третьей — скот. Четвёртую оставил пустой, потому что не знал, что на неё резать.

К вечеру навстречу прошло ещё двое таких. На другой день — пятеро. Все шли с востока на запад. Никто ничего не продавал. Все спрашивали дорогу: одни — к лесу, другие — просто на закат, куда-нибудь, третьи — в Таяпу, где у них кто-то был. Одни шли со скотом, другие без.

— Считай и тех, и других, — сказал отец. — Кто со скотом, тот идёт жить. Кто без скота, тот идёт уйти.

Ятман завёл на четвёртой грани поперечную черту и стал резать над ней тех, кто со скотом, а под ней — тех, кто без. Под чертой выходило больше.

— Много их, — сказал Хурсә к вечеру восьмого дня.

— Сорок один человек, — сказал Ятман, не глядя на бирку. — Девять телег. Коров шесть, овец двадцать с чем-то, я не всех видел. Со скотом четырнадцать. Без — двадцать семь.

Хурсә посмотрел на него, потом на отца.

— Этот в тебя, — сказал он.

— Хуже, — сказал Курак со своей телеги. — Этот в него и с ножиком.

* * *

Последнюю ночь перед Волгой ночевали в Шәхаль, у Хурсә, у его братьев.

Шәхаль стоял на излучине, дворов в шестьдесят, и был такой же, как Тикаш: большой, старый, с масаром на бугре, где столбов было больше, чем Ятман видел за всю жизнь. Братья Хурсә были похожи на него — такие же длинные и сутулые, — и так же, как он, молчали, когда ели. Потом старший из них выпил и заплакал, а Хурсә сидел рядом и держал его за плечо, и никто за столом этого не заметил, потому что так было положено не замечать.

Отец после еды ушёл. Один, на другой конец села, никому не сказав к кому. Вернулся он затемно, сел на порог и долго разувался.

Ятман лежал на полатах и не спал.

— К материнной сестре ходил, — сказал Хурсә тихо, забираясь на полати рядом. — К Хёвелпи. Её муж его на двор не пустил. Через плетень поговорили.

— Почему не пустил?

— Тогда поругались. В тот год, когда уходили. Таймас сказал: от своей печи не уходят. Отец твой сказал ему что-то. Таймас ему — тоже. — Хурсә повернулся на бок. — Тринадцать лет и не пускает. Упрямый. Шәхальские все упрямые. Я тоже.

— У них дети есть?

— Четверо. Старший, Ахпұрт, у суварского бека, в войске. Бек с зимы набирает, даёт меру в месяц и сапоги, а к Сурла, говорят, поведёт в Великий город. Второй дома, при отце. Девка в тот год родилась, как ты. И меньшей, малый ещё.

Ятман полежал.

— Мать про них не говорит.

— Не говорит, — согласился Хурсә. — По осени, когда Тукташ называет, слушает. Спи.

Утром отец запрягал молча и выехал из Шәхаль другой дорогой, низом, мимо того конца не поехал.

* * *

К Волге вышли на девятый день, к вечеру.

Ятман увидел её сверху, с подъёма, и первое, что он подумал, — что это не река.

Река — это то, у чего тот берег видно, как стену. Тут тот берег был, но низкий, синий и далёкий, и нельзя было понять, лес там или не лес. Вода лежала между берегами серая и широкая, и по ней шла рябь полосами, и полосы стояли на месте, а вода шла.

— Тут полверсты с лишним, — сказал Хурсә. — А выше, где остров, и вся верста.

Переправа была под берегом: избушка, два сарая, сваи, мостки, три лодки на песке и паром на канате. На бугре над переправой стояли навесы, и под навесами торговали — рыбой, солью, крупой, — с подвод, приехавших с обеих сторон. Сюда отец и вёз железо и воск.

Ултимера Ятман узнал раньше, чем его называли.

Старик стоял у мостков и распутывал верёвку. Он был согнут в спине так, что смотрел снизу вверх, не поднимая головы, и руки у него были больше, чем нужно такому телу.

— Много вас, — сказал он, когда телеги встали.

— Три телеги, — сказал Курак.

— Я не про вас, — сказал Ултимер.

Он кивнул на мостки. На мостках, у парома, стояли люди с узлами и ждали, и их было человек двадцать, и паром как раз пришёл с того берега и привёз ещё столько же.

* * *

Торговали два дня.

Соль брали у приезжего из-за Волги, который стоял с двумя подводами под навесом. Отец развязал первый короб воска и поставил перед ним. Торговались долго и с удовольствием, Курак вмешивался дважды, и оба раза его отсылали. Кончилось тем, что за весь воск и за половину железа взяли пять пудов.

— Восемь надо, — сказал Хурсә, когда отошли.

— Восемь у него и нет, — сказал отец. — У него девять, и три он повезёт дальше, где дороже.

Потом отец вернулся к подводам и купил ещё, отдельно, за гвозди, мешочек соли в полпуда — и сунул в свою суму. Ятман видел и не спросил.

На третий день утром отец сказал Кураку, что телеги остаются здесь, а они с Ятманом идут к Хурәнвар — по этому берегу, вниз по реке, день пути — и вернутся через три дня.

— Коня возьми, — сказал Курак.

— Возьму гнедую. На неё мешок.

Курак посмотрел на суму, в которой был мешочек соли, и ничего не сказал.

* * *

Паром ходил с рассвета. Дорога на Хурәнвар шла от переправы берегом, мимо самых мостков, и отец с гнедой в поводу остановился у воды.

На настил заводили чужую кобылу — рыжую, молодую, из-за Волги, с телеги той самой семьи, что шла назад, на восток, к родне, и которая никогда не ходила на паром. Кобыла упиралась, выкатывала глаз и садилась на задние ноги. Хозяин тянул её за повод и ругался.

Ултимер отстранил его, снял с себя шапку, надел кобыле на глаза, взял под уздцы и повёл задом.

— Задом, — сказал он кобыле. — Задом не видно. Оттого и идёшь.

Кобыла пошла задом, приседая. Настил загудел, и она присела ниже, и Ултимер подержал её и дал ей стоять, сколько ей было нужно, и потом провёл дальше.

— Она у тебя глупая, — сказал он хозяину.

— Она умная.

— Умная, — согласился Ултимер. — Умная и не пойдёт. Дура пошла бы.

И он объяснил, стоя на настиле с поводом в руке, зачем заводят задом: лошадь боится не воды и не настила, а того, что впереди нет земли. Если она этого не видит, она идёт. Он объяснил это с самого начала и подробно, как объясняют тому, кто слышит впервые. Отец стоял рядом со своей гнедой и слушал так, будто слышал впервые.

Внучка стояла на корме с шестом.

Она была невысокая, в мужской рубаше, подпоясанной низко, и шест держала так, как держат вещь, которой пользуются каждый день, и ждала, когда дед кончит с кобылой.

— Она с колонной шла, — сказал отец тихо. — Девять лет ей было. Потом через семь лет вернулась к деду. Пешком пришла.

На пароме, у борта, стоял булгарин, торговый человек, в хорошем кафтане, со слугой и двумя выюками. Он ехал домой, к Болгару, и ему было скучно, и он говорил. Сперва про цену на воск. Потом про то, что на реке мало лодок. Потом про новости.

— На Яике сторожу побили, — сказал он. — Нашу, городскую. Весной ушло сорок, а вернулось, говорят, девятеро.

Отец стоял на мостках и смотрел в воду.

— Кто говорит? — спросил Ултимер.

— В Джукетау говорят. Там один из девятерых лежит, раненый, сотник их. — Купец покачал головой. — А за Яиком, говорят, конных столько, что трава кончилась.

Ултимер сплюнул в воду и кивнул внучке. Она оттолкнулась дважды, перехватила, и паром пошёл ровно.

Отец не сказал ничего. Он стоял на мостках и смотрел, как внучка ставит шест, и молчал, пока паром не отошёл на середину. Ятман стоял рядом и смотрел на отца, и отец ни разу не повернул головы.

Потом отец повёл гнедую не наверх, к телегам, а по берегу, вниз по реке, прямо, не задом, и она пошла за ним, не упираясь.

* * *

В Хурънвар пришли к вечеру.

С дороги села видно не было. Отец узнал поворот по берёзовому мыску и свернул, и они пошли под гору, и тут Ятман увидел, что это не село.

Стояло четырнадцать дворов. Он сосчитал, пока спускались.

В трёх не было крыш: стропила стояли голые, и на них рос молодой клён. У пяти остались одни стены. Два двора сгорели давно, и на их месте стояла крапива, в грудь высотой, ровная, как посеянная. Липняк, который, по рассказам, был за околицей, стоял теперь между дворами и был выше изб.

У ключа обвалился сруб. Вода шла из-под бревна и уходила в осоку, и мостков не было.

Собак не было. Верёвка висела на столбе у крайнего двора, пустая, серая, перетёртая посередине и связанная узлом. Отец посмотрел на неё и пошёл дальше.

— Тут сорок шесть душ было, — сказал он на ходу.

Дым шёл из одной трубы. Третий двор от ключа.

* * *

Она вышла к воротам прежде, чем они дошли.

Маленькая старуха в тёмном, прямая, с открытым лбом. Она вышла, посмотрела на них и пошла не к сыну, а к лошади. Взяла гнедую за повод, провела рукой по шее, по груди, присела и провела по ногам до бабок.

— Потный, — сказала она.

— Мы шли шагом.

— Потный, — повторила она и повела гнедую к сараю.

У сарая, привязав, она обернулась и посмотрела на Ятмана. Смотрела долго и не сверху вниз: она была ненамного выше.

— *Камън эсё, йсман?* «Чей ты и откуда?» — спросила она.

Ятман знал, что на это отвечают. Он слышал, как отвечают у ворот, и на *кёр сәри* «осеннем поминальном пиве», и знал, что отвечать надо не торопясь.

— Атнеров, — сказал он.

Старуха не отвела глаз.

— Это не род, — сказала она. — Это двор. Я спросила, чей ты.

Ятман открыл рот.

Он стал перебирать то, что знал. Отца. Мать. Что мать жила здесь, в Хурянвар, в крайнем дворе у оврага, вдовой кузнеца, а кузнец был из-за Кинера, и где Кинер, он не знал. Что у матери в Шяхаль сестра, которую он никогда не видел. Что у отца был дядя, которого звали так же, как его, и что дядя лежит здесь. Дальше не знал ничего. А дальше надо было говорить, потому что у ворот говорят дальше.

Он посмотрел на отца.

Отец стоял у гнедой и отвязывал от седла мешок, и мешок был привязан хорошо, и отец отвязывал его долго.

— Не знаю, — сказал Ятман.

Старуха кивнула, как кивают, когда число сошлось с тем, что думал сам.

— Ну, входите, — сказала она.

* * *

Ели при лучине.

Она поставила кашу, хлеб и молоко, и на край стола — старую глиняную плошку, пустую. Отец положил в плошку первую ложку, не глядя. Ятман посмотрел на него и сделал так же. Бабка видела это и ничего не сказала.

Разговаривали о деле: сколько овец (две), кто косит ей за долю (Сехверовы: сам Сехвер, материн двоюродный, давно ушёл под Сувар, к беку, в ополчение, а сын его Тенекей приезжает на покос за два дня, со своими сыновьями), цела ли крыша (цела), где она берёт соль (у проезжих, по щепоти, за холст). Отец достал из сумы мешочек в полпуда и поставил у жёрнова. Она посмотрела на мешочек и поставила его за жёрнов, в угол, ничего не сказав.

Про село не говорили. Про войну не говорили. Про Яик и девятерых отец не сказал ни слова.

Потом отец сказал:

— *Кинем* «бабушка».

Он сказал это слово так, как говорят чужой старухе, а не матери, и Ятман поднял голову. Она не ответила сразу. Домела, что мела, отставила веник и тогда сказала:

— Ну?

— Поедем с нами.

— Вон как, — сказала она. — Уже и «поедем».

— Телеги идут назад полупустые.

— Полупустые, — сказала она. — А я, значит, груз.

Она села к прялке и взяла веретено.

— Третий раз спрашиваю, — сказал отец.

— Третий раз отвечаю. — Веретено пошло. — Мне тут Ятмана сторожить. А тебе идти. Ятман вздрогнул на своём имени и не сразу понял, что это не про него.

Отец постоял.

— Спи, — сказала она ему. — В сенях постелено. И этого положи.

* * *

Ятман лежал в сенях на попоне и слушал, как за стеной ходит ручной жёрнов: два оборота — шорох, два оборота — шорох, и пауза, когда подсыпают. Она молола долго. Он считал обороты, досчитал до трёхсот и сбился.

Потом жёрнов встал.

— Мало осталось, — сказала она за стеной. — К осени смелю остальное.

— Я пришлю, — сказал отец.

— С кем?

Отец не ответил.

— Вот и не присылай, — сказала она.

Жёрнов пошёл снова.

Утром Ятман ходил за водой, и у ключа не нашёл, куда поставить ведро: сруб обвалился, вода шла из-под бревна и уходила в осоку. Он сходил за отцовым топором, вытесал из старого бревна две плахи и положил их на две развилки поперёк ручья. Отец пришёл, посмотрел, ничего не сказал, сходил за третьей плахой и положил рядом. Вода всё равно шла с илом, но ведро стояло.

Бабка пришла посмотреть вечером, одна. Ятман видел с бугра, как она стоит у ключа и трогает плаху ногой.

За ужином она сказала:

— Крива левая.

— Крива, — сказал отец.

— Ну, стоит же, — сказала она.

* * *

Уходили утром.

Она вышла к воротам и стояла, пока отец седлал. Отец подтянул подпругу, потом ещё раз.

— Хватит её мучить, — сказала она.

Потом позвала Ятмана. Он подошёл. Она достала из-за пазухи моток красной нити, небольшой, туго смотанный, перехваченный посередине, и вложила ему в ладонь.

— Матери отдашь, — сказала она. — Скажешь: в ворот вшить. Изнутри, по шву. Не поверху.

— Хорошо.

— Повтори.

— В ворот. Изнутри, по шву. Не поверху.

Она кивнула.

— И вот что. Ты меня спроси.

Ятман не понял.

— Ты вчера не ответил, — сказала она. — Так ты меня спроси. Тогда будешь знать.

Ятман посмотрел на неё и спросил:

— *Камй̆н эс̆ё, ай̆стан, кинем̆и?* «Чья ты и откуда, бабушка?»

И она ответила, стоя у ворот, положив руки одну на другую, ровно, как отвечают по обычаю. Что она Эрнепи, из Хурй̆нвар, что двор этот третий от ключа. Что отец её жил в этом дворе, и дед его тут жил, и у обоих столбы на бугре, дубовые. Что брат её старший Ятман лежит там же, и знак на его столбе резал её сын. Что Сехвер ей двоюродный через мать. Что отсюда она ехала в город за булгарина, за сотника, за Мардана, и жила в городе двенадцать лет, и вернулась сюда с одним узлом, на попутной телеге.

— А после меня — Атнер, — сказала она. — Сын. Вон он стоит.

Она помолчала.

— А после него — ты. Материн род у матери спросишь. Она скажет. Теперь знаешь половину.

Ятман стоял с мотком в кулаке, и кулак вспотел. Он повторял про себя: третий от ключа, столбы дубовые, Сехвер через мать, Мардан, — и боялся, что потеряет по дороге, как теряют порядок, потому что порядок забывается первым.

Отец взял гнедую под уздцы. Они пошли. Она не пошла провожать до поворота, а осталась у ворот. Ятман оглядывался дважды. Первый раз она стояла. Второй раз её уже не было видно: закрыл берёзовый мысок.

* * *

К переправе вернулись под вечер.

Паром шёл с того берега медленно, против ветра. Ултимер работал шестом с одного конца, внучка с другого, и они не разговаривали между собой, потому что им всё было понятно и так. На пароме сидели человек тридцать с узлами — с того берега, на закат.

Паром ткнулся в мостки. Ултимер подал канат внучке, и она захлестнула. Люди сошли и пошли наверх, а Ултимер остался у мостков, и отец встал рядом с ним и смотрел в воду.

Ултимер сказал ему что-то, коротко, одну фразу, про воду.

Отец ответил тоже одной фразой, и в ней было про лодки.

Ятман слышал обе. Он стоял в трёх шагах, держась за гриву гнедой, и слышал каждое слово, и ему было неинтересно: про воду и про лодки здесь говорили все и всегда. Он думал про третий двор от ключа и про Сехвера через мать и боялся перепутать.

Потом, зимой, он пробовал вспомнить эти две фразы и не смог. Он помнил, что Ултимер сказал про воду, и что отец ответил про лодки, и как отец при этом переложил руку на перилах мостков, с ладони на кулак. Слов не было.

— Ну, — сказал Ултимер отцу. — В жатву не приедешь.

— Не приеду.

— Ну и не приезжай, — сказал Ултимер.

* * *

Телеги стояли на бугре, увязанные. Курак ждал с запряжёнными. Пять пудов соли лежали в мешках под рогожей, железа было меньше на половину, воска не было совсем.

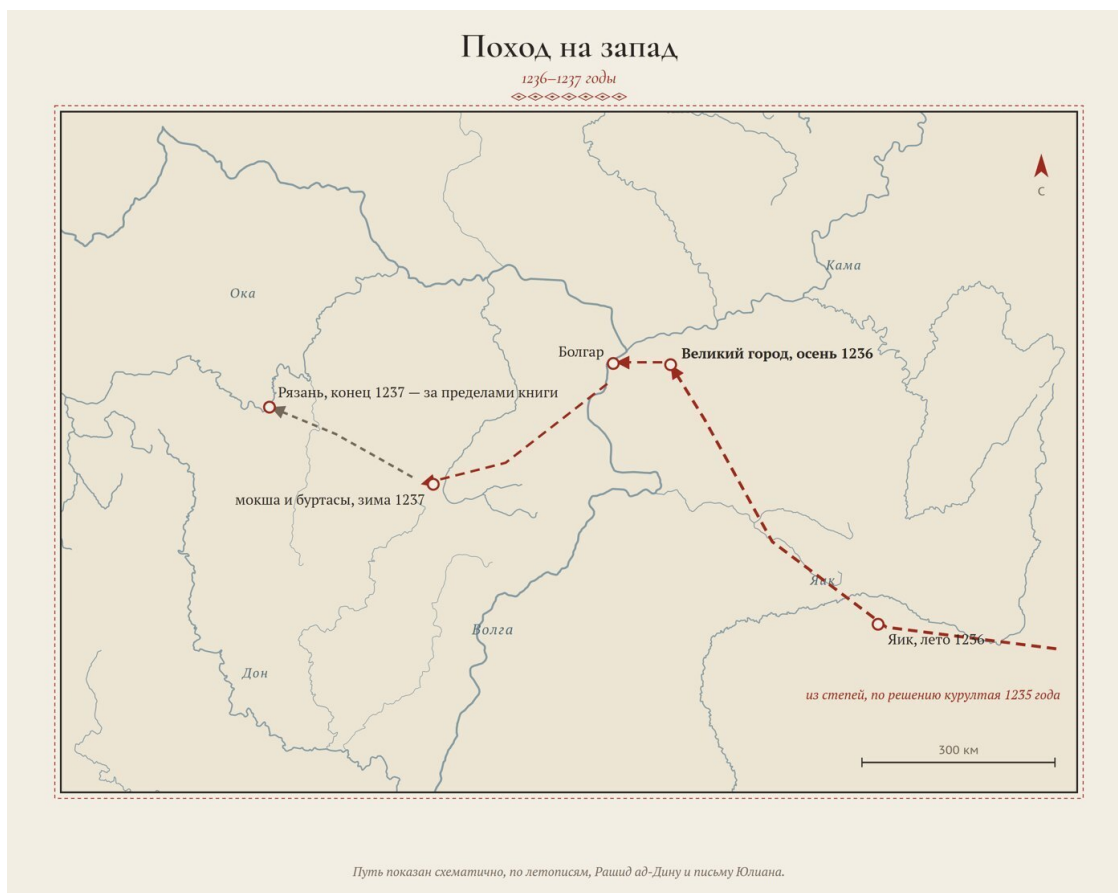
Ятман поднялся на бугор последним, ведя гнедую, и наверху обернулся.

Волга лежала внизу, широкая, серая, с полосами ряби, которые стояли на месте. За ней — низкий тот берег, тальник, луг, лес в полуверсте. А вниз по реке, по этому берегу, за лесом, над полями, далеко, стоял дым. Один. Тонкий, ровный, прямо вверх, потому что было безветренно.

Ятман знал, чей это дым. Над Хурянвар был один жилой двор, и одна труба, и один дым.

Он стоял и смотрел, как дым стоит над полями, как нитка, которую кто-то держит за конец и не отпускает. Потом Курак крикнул, что трогаются, и Ятман сунул моток красной нити за пазуху, поглубже, и повёл гнедую к телегам.

Карта



Поход на запад, 1236–1237 годы. Путь войска показан схематично.

Часть II. Зов

Глава 8. Недостроенная сажень

Хасан-бек. Великий город, хлебная палата, август 1236 года

Весы в палате начинали работать до света, пока подводы не встали в очередь до самых ворот.

Хасан-бек сидел у малых весов, на которых вешали не зерно, а довольствие: мешок на человека, мешок на коня, полмешка на мальчика при коне. Большие весы стояли во дворе, под навесом, и там кричали, а у малых было тихо, потому что сюда приходили за своим, а не со своим.

Сотник Абу-Хамид пришёл, когда солнце встало над амбарами.

Он пришёл пешком, хотя всегда приезжал. Левая рука у него была подвязана к груди полотном, и полотно было не белое, а серое от дороги. Он встал у весов, дождался, пока весовщик отпустит старуху с двумя мерами проса, и положил на доску свою бирку.

Бек взял бирку и посмотрел на зарубки. Их было сорок, и под ними знак дальней сторожи.

— На сколько? — спросил бек.

— На девять, — сказал Абу-Хамид.

Бек положил бирку на доску и не стал ничего говорить. Весовщик тоже ничего не сказал и начал отмерять.

— С тобой? — спросил бек.

— Со мной девять.

Бек открыл *дафтар* «учётную книгу» на странице сторожи. Сверху стояла строка весеннего выхода: сорок голов, сорок один конь, на восемь недель. Под ней он написал: вернулось 9. Потом подумал и приписал: коней 11.

— Коней одиннадцать, — сказал Абу-Хамид. — Два пришли сами. Без людей.

— Я записал.

Сотник кивнул. Он смотрел, как весовщик отсыпает, и молчал, и бек знал, что так стоят люди, которые ещё не сказали главного и не знают, надо ли говорить его здесь.

— Расскажи, — сказал бек. — Мне для книги. Коротко.

Абу-Хамид рассказал коротко.

Сорок вышли к броду на Яике в начале лета. На том берегу стоял стан, у которого не было края, и дым шёл до самого неба. Считать не стали: кто считает, тот не стреляет. Передние с того берега не полезли в воду в лоб. Половина стала на берегу и стреляла, половина пошла выше по реке, на второй брод. Абу-Хамид увидел обход и повёл своих назад. Отходили по пятеро: пятеро стреляют, остальные отходят, потом наоборот. Подожгли за собой сухую траву. Старший из людей остался на косе, чтобы другие ушли за дым.

— Сам остался, — сказал Абу-Хамид. — Я его не ставил.

— Имя?

Сотник сказал имя.

Бек записал имя. Потом записал: конь — нет. Конь его остался там, на косе, и Абу-Хамид видел через дым, что конь стоит над ним и не уходит.

— Шли назад шесть недель, — сказал сотник. — Кругом, через Черемшан. Прямо было нельзя, прямо уже ездили они. Я в Джукетау лёг с рукой, а про нас сказали раньше, чем мы дошли. Я слышал на дороге, что вернулось девять. Пришёл — и правда девять.

Он забрал мешки, по одному на плечо, здоровой рукой, и весовщик помог ему взвалить второй.

— Хлеб на сторожу к зиме будет? — спросил Абу-Хамид от двери. Он спрашивал это каждый год.

— На какую сторожу? — сказал бек.

Абу-Хамид постоял в двери и ушёл, не ответив.

* * *

На вал бек пошёл после полудня.

Он ходил туда каждую неделю с весны, хотя вал не был делом хлебной палаты. Он говорил себе, что ходит смотреть, сколько людей кормят на земляных работах, и это была правда. Остальная правда была в книжечке, которую он носил за поясом.

Строительный человек, десятник от эмирской казны, ждал его у северо-восточных ворот.

Ворота были старые. Их ставили при прежнем эмире, и дуб на створах почернел и трескался по волокну, а железные полосы поверх держались на гвоздях, которые кузнец ставил взамен выпавших, каждый раз своих, и гвозди эти были все разные. Мост через ров перед воротами лежал на шести сваях. Две сваи стояли в воде, и вода их съела у самой поверхности, так что сваи выглядели как пальцы, перетянутые ниткой.

— Мост гнилой, — сказал бек.

— Гнилой, — согласился десятник. — Мост меняют раз в тридцать лет. Этому двадцать восемь.

— Значит, через два года.

— Значит, так, — сказал десятник.

Они пошли по гребню вала на север.

Здесь, на северо-восточной стороне, внешний вал был в два человеческих роста, и по гребню стояли срубы-городни, забитые землёй, а над ними шло бревенчатое забрало с прорезьями. Через каждые сто пятьдесят шагов вал выносил вперёд башню. Бек считал башни и считал шаги между ними. Он знал это расстояние и без счёта, но считал: шаги держали голову ровно.

За третьей башней вал спускался к оврагу.

Овраг выходил к ручью, который тёк с той стороны, из-за стены, и уходил в поле. Он был глубокий, с крутыми стенками, поросшими орешником, и по дну его шла тропа. Над оврагом вал обрывался.

Дальше, на другой стороне, он начинался снова.

Между двумя концами стоял плетень. Хороший плетень, в рост человека, на кольях, и за ним насыпь земли по пояс, и в насыпь уже были вбиты первые крепі для срубов. Крепи потемнели. Их вбивали позапрошлым летом.

— Сорок сажень, — сказал бек.

— Сорок одна, — сказал десятник. — Я мерил весной.

Бек достал книжечку и исправил. Потом прошёл вдоль плетня от конца до конца, считая шаги. Он считал то, чего не было. Он всегда так делал: считал не срубы, которые стоят, а срубы, которых нет. Такой счёт был вернее. То, что стоит, всякий записывает на себя. Того, чего нет, на себя не запишет никто.

— Лес для срубов есть? — спросил он.

— Лес есть. Людей нет.

— Сколько надо?

— Двести человек на двадцать дней, если сухо, — сказал десятник. — Или четыреста на десять. Это на сажень. На ров перед всем этим участком — ещё столько же. Ров здесь не докопан. — Он показал вниз.

Бек посмотрел. Ров перед северо-восточным участком был мелкий, по грудь, и в нём росла трава.

— А сейчас на участке сколько?

— Сегодня сорок два, — сказал десятник. — Вчера было пятьдесят. Жатва.

Бек записал: сорок два.

Внизу, у плетня, два мужика таскали в корзинах землю на насыпь. Они таскали медленно, как таскают люди, которым платят за день, а не за корзину. Бек смотрел на них и думал не о них, а о том, что с того края оврага, где кончается вал, до другого края человек на коне доедет за двадцать вдохов, если по тропе, и за десять, если плетень повален.

Он не записал этого. Это была не его строка.

* * *

В палате в тот день спорили о жнецах.

Спор был старый: ему было три недели. Строительная часть просила снять с ближних сёл по человеку со двора на десять дней, на вал. Палата не давала. Эмир не говорил ни да, ни нет, и поэтому спорили в палате.

— Жатва кормит город зиму, — сказал бек, когда до него дошла очередь.

Он сказал это не громче, чем говорил у весов. На него посмотрели, как смотрели всегда, когда он начинал говорить числами: терпеливо.

— Я скажу, сколько это, — сказал бек. — Человек на жатве за десять дней снимает столько, что его двор ест до весны. Снимем с полосы тысячу человек — тысяча дворов придёт зимой в город за хлебом. Я их посчитал. Они съедят больше, чем насыплют на вал.

— Вал нужен осенью, — сказал человек от строительной части.

— Хлеб нужен зимой. И зима будет непременно.

— А если придут?

Бек повернулся к нему.

— Если придут через месяц после жатвы, то вал, насыпанный за десять дней, ещё не сядет, — сказал он. — Если через год, мы насыплем его спокойно.

Старший писец палаты, который сидел здесь дольше всех и помнил трёх эмиров, поднял руку.

— Четыре года назад приходили, — сказал он. — Постояли, зимовали в степи и не дошли. Весной ушли. И до того приходили и не доходили. *Инишааллах* «Если пожелает Бог» — и в этот раз не дойдут.

По палате пошёл тот гул, каким соглашаются люди, которым не хочется ни с чем соглашаться. Это был самый сильный довод из всех, какие бек слышал за лето, и против него у него были только числа. Всякий, кто говорил «обойдётся», имел за собой память. Всякий, кто говорил иначе, имел только опасение. Опасение в палате не бумага.

— Позовите сотника, — сказал бек. — Он с Яика.

Абу-Хамида позвали. Он вошёл с подвязанной рукой и встал у двери, потому что сесть ему никто не предложил, а сам он не сел бы.

— Скажи им, — сказал бек.

— Что сказать?

— Что ты видел.

Абу-Хамид посмотрел на палату, на стариков в хороших кафтанах, на писцов с досками.

— Я видел дым, — сказал он. — Он шёл до неба. Под дымом были кони, и у коней не было края. Я увёл девятерых из сорока. Больше я ничего не видел, потому что больше смотреть было некогда.

— Сколько их? — спросил старший писец.

— Я не считал.

— Как же ты воевал, не считая?

— Так и воевал, — сказал Абу-Хамид. — Отходя.

Молчали.

— Про вал спрашивали, — сказал бек. — Про сажень у оврага.

Абу-Хамид повернулся к нему.

— Сажень — это ничего, — сказал он. — Сведёте вы её, будет ровная стена. Стена держит столько, сколько за ней стоит людей, и ни днём дольше. У меня на моей версте по росписи восемьдесят. Стоит двадцать два. Половина из присланных, и их отзовут, потому что у них тоже жатва.

— Так что ты просишь? — спросил человек от строительной части. — Людей или стену?

— Людей, — сказал Абу-Хамид. — Мне весной давали камень. Камень не надо кормить.

Оттого его и дают.

Кто-то засмеялся и перестал.

* * *

Решение вышло к вечеру и вышло не тем, о чём спорили.

Жнецов не тронули. Решили другое: слать гонцов по всей земле, по всем сёлам и городкам, от Камы до Черемшана, с одним словом — кто может держать оружие, пусть идёт на стены Великого города, а хлеб палата даст. Бек понимал, что это решение вышло не из его чисел, а из лени: гонцов послать проще, чем снять с полосы тысячу человек и потом кормить их дворы. Но выйти оно вышло, и хлебная палата в нём стояла первой.

Гонцов расписывали по дорогам тут же. Писцы сидели в ряд и писали одно и то же, меняя только имя городка. Бек смотрел в их листы через плечо и видел, как слова ложатся одинаково на десяти листах, и думал, что десять городков получают десять одинаковых бумаг и каждый решит, что его зовут первым.

Суварскую округу расписали первой. Суварский бек, сидевший под Суваром, прислал ещё в начале лета, что приведёт своих, когда позовут, и в росписи ополчений против его имени стояло шесть тысяч: сувары приволжские и камские, из-под самого Суvara, те, что платили палате и ходили в мечеть, и те, что платили и в мечеть не ходили. Им писали отдельно, с поклоном, потому что шесть тысяч — это шесть тысяч.

Абу-Хамид всё стоял у двери. Когда расписали Джукетау и Кернек и дошли до южных сёл, он сказал:

— А за Волгу?

Писцы подняли головы.

— За Волгой сувары, — сказал Абу-Хамид. — Не беков. Правого берега, по Волге, у Таяпы. И те, что ушли в лес тринадцать лет назад с *Ылтән Питом* «Золотым лицом». Их родня стоит у суварского бека в росписи. Если поднять и этих — будут ещё тысячи. Я с его людьми стоял однажды на броду. Они стоят.

В палате стало тихо так, что было слышно, как во дворе у больших весов спорят возчики.

Бек знал, почему тихо. Он помнил бумагу, которую тринадцать лет назад прислали из столицы и читали вслух на дороге под Ага-Базаром: правый берег привести к покорности и взыскать недоимку, а того, кто сёла увёл, взыскать вместе с ними. Он сам её читал. В палате её помнили все, кто тогда служил, и теперь они смотрели себе в колени.

— Это те, кого велено было усмирять, — сказал кто-то.

— Их никто не усмирил, — сказал Абу-Хамид.

— Они не придут.

— Позовите — узнаете, — сказал сотник. — Не позовёте — точно не придут.

Старший писец посмотрел на бека.

— Хлебная палата, — сказал он. — Что скажет хлебная палата?

Бек сказал то, что мог сказать.

— Хлебная палата скажет, сколько это будет стоить, — сказал он. — Завтра.

* * *

Считал он ночью, на галерее, при лампе.

Он считал не мерами. Мерами пишут в отчёт. Для себя он всегда считал днями, потому что вопрос у хлеба один: на сколько дней.

Запас казённых амбаров за вычетом семенного. Просо отдельно, потому что его едят иначе и оно дольше лежит. Частные житницы: половина того, что показали, потому что купец, у которого просят зерно, показывает половину. Посад за нижним валом, которого нет ни в одной росписи и который весь войдёт внутрь, если закроют ворота. Округа, которая войдёт тоже.

Дни у него вышли ещё весной. Он знал это число и не любил его.

Теперь он прибавил к едокам три тысячи.

Он написал «три тысячи» и подумал, откуда взял. Абу-Хамид сказал: тысячи. Тринадцать лет назад в лес ушли, по его собственной ведомости, меньше двух тысяч, со стариками и детьми. Правый берег по старой описи, по кустам с первого по шестидесятый, — это несколько десятков тысяч душ, но душ, а не тех, кто может держать оружие. Лесные и речные сёла выставляют от двора одного, редко двух. Если придут все, сколько может прийти, выйдет три тысячи. Может, меньше. Больше не придёт, потому что больше ему не прокормить у себя дома тех, кто останется.

Три тысячи ртов, мужских, работающих, на мешке в день на двоих. И кони.

Он пересчитал дни.

Дней стало меньше. Он написал это число под первым и провёл между ними черту. Потом посмотрел на черту и подумал, что три тысячи человек на стене — это не три тысячи ртов, а три тысячи рук, и что руки в дни не переводятся. Переводится только хлеб.

Он переписал первое число, второе число и разницу. Разница была столько дней, что он проверил счёт и получил то же самое.

Потом он придвинул чистый лист и стал писать грамоту.

Грамота вышла короткая. От хлебной палаты Великого города — старшинам суварских сёл правого берега. Кто придёт с оружием на стены Великого города, тому от палаты хлебное довольствие на всё время службы, на человека и на коня, как положено ратным людям по статье двенадцатой. Приходить к северным воротам, предъявить эту грамоту, быть вписану в книгу.

Статья двенадцатая была о довольствии пришедшим ратным людям. Её писали лет сорок назад для кипчаков, которых нанимал прежний эмир, и с тех пор по ней никого не кормили. Бек искал её полночи по старым книгам уложений, потому что помнил, что такая была, и нашёл не сразу: она стояла не среди хлебных статей, а среди ратных, и на полях у неё не было ни одной пометки.

Он перечитал грамоту дважды. Про эмира в ней не было ни слова. Про недоимку тоже. Про то, что было тринадцать лет назад, — ничего.

Имени своего внизу он не поставил.

Утром Ильяс переписал грамоту набело, красиво, в два столбца, и положил перед ним. Он переписывал всё, что уходило из палаты, двадцать лет, и имел право спросить.

— Имя, — сказал Ильяс. — Внизу пусто.

— Так и надо.

— Бумагу без имени не примут.

— Её примут по печати.

Ильяс подождал. Он ждал так всегда: не спрашивая дальше, пока ему не скажут или пока не станет ясно, что не скажут.

— Имя тянет долг, — сказал бек. — Пусть идут не ко мне.

Ильяс посмотрел на пустое место внизу, потом на бека.

— Они же тебя помнят, — сказал он. — Кто из них жив.

— Поэтому, — сказал бек.

Ильяс сложил грамоту, провёл по сгибу ногтем и ушёл к своему столу. Больше он про это не спрашивал ни в тот день, ни после.

Палата приняла число дней, не глядя. Решили слать и за Волгу.

* * *

Дорожную ведомость бек составлял в тот же вечер.

Хлебные обозы уходили на север раз в две недели: везли зерно в северные житницы, ближе к Каме, где его держали на случай, и возвращались порожние. С обозами по службе ехали люди: весовщики сдать меры на месте, писцы вести приёмную книгу, подмастерья с поручениями, тележник, которого берут всегда. На каждого писалась строка и основание. Так было всегда, и никто никогда не читал эти ведомости, кроме того, кто их составлял.

Бек писал медленно. Он писал не тех, кого жалел, а тех, кого можно было вписать так, чтобы бумага не вызвала вопроса. Каждому нужна была причина, и причина должна была быть служебной.

Весовщик. Молодой писец. Двое подмастерьев при весовщике. Тележник.

Потом казённые работники, переводимые из городских мастерских в северные, по казённой надобности. Это тоже было обычно. Их вписывали строкой, без причины: причина была в самом слове «казённый».

Третьей снизу он вписал ткачиху казённой ткацкой. Имя, год поступления, основание.

Он посмотрел на это имя. Потом на год. Год стоял тринадцатый от нынешнего. Он вписывал это имя в ведомость довольствия каждую весну и ни разу не вписывал его никуда ещё.

Ниже он написал ещё одну строку: Юнус ибн Хасан, писец, для приёмки хлеба в северных житницах и обратного счёта. И вписал ниже жену Юнуса и двоих детей, при нём.

Он подержал калам над строкой и поставил точку.

Ведомость он оставил на своём столе, нарочно, потому что Юнус приходил в палату раньше отца и первым разбирал бумаги.

Утром Юнус вошёл к нему с листом в руке.

Лицо у него было, как у матери, когда она сердится. Юнус этого про себя не знал.

— Вычеркни, — сказал он.

— Нет.

— Отец. Обратного счёта в северных житницах нет. Приёмку ведёт житничный.

— Основание годное, — сказал бек. — Бумагу примут.

— Я не про бумагу. — Юнус положил лист на стол. — Меня тут знает всякая собака. Палата скажет: бек вывез сына с женой и детьми под хлебом. Это увидит всякий. И тогда за мной поедут другие, у кого есть кому вписать. И кто останется на стене?

— Тебя на стену не ставили.

— Поставят, — сказал Юнус. — Я сам встану.

Бек молчал.

Юнус взял калам, обмакнул и провёл по своей строке черту. Потом по строке жены и детей. Потом второй раз, крест-накрест, чтобы нельзя было прочесть. Рука у него была твёрдая. Бек смотрел на эту руку и думал, что мальчик не посадил ни одной кляксы и что он сам в двадцать шесть лет посадил бы.

— Хорошо, — сказал бек.

Юнус постоял. Он хотел сказать что-то ещё и не сказал, и пошёл к своему столу, и весь день писал ровно, как писал всегда. Это был единственный раз за всю их жизнь, когда они спорили.

Ведомость бек переписал начисто, потому что с перечёркнутым не подашь. Юнуса в ней больше не было. Ткачиха стояла третьей снизу.

* * *

Мунир принёс воду к полудню и остановился в дверях.

— Бек, — сказал он. — А правда, что за Волгу посылают? К лесным?

— Где говорят?

— У колодца.

Бек записал в книжечку: у колодца говорят про Волгу. Он записывал так всё лето: что говорят у колодца. У колодца всегда знали на два дня раньше палаты.

— Правда, — сказал он.

— А кого пошлют?

— Не тебя.

Мунир постоял, решил, что это ответ, и понёс кувшин дальше.

Бек знал, кого пошлёт, с ночи.

Гонец за Волгу должен был знать две вещи: дорогу и человека. Дорогу на правый берег знали многие: по ней ходили купцы, сборщики, сторожа. Человека знали немногие, и из этих немногих половина лежала в земле, а другая половина сидела в палате и смотрела себе в колени.

Он велел позвать из городской стражи Ильдара.

Ильдар пришёл к вечеру. Ему было около сорока. Он был из этого города, отсюда родом, и тринадцать лет назад ездил всадником в авангарде, которым командовал человек в позолоченной личине. После того как авангард распустили, Ильдар вернулся домой к жене и пошёл в городскую стражу, и бек встречал его во дворе палаты раз в месяц, когда стража приходила за своим. В прошлом году они говорили о сёдлах: у Ильдара седло было старое, ещё авангардное, с серебряной оковкой на луке, и он его не продавал.

Бек спросил тогда, помнит ли он дорогу на правый берег.

Ильдар сказал: её все помнят, кто ходил.

— Помнишь, что ты мне сказал про дорогу? — спросил бек теперь.

— Помню.

— А человека помнишь?

Ильдар посмотрел на него.

— Которого?

— Того, за кем ты ездил тем летом. На Суру и дальше.

Ильдар помолчал.

— Помню, — сказал он. — Он жив?

— Не знаю, — сказал бек. — Узнаешь.

Он показал на свёрток на столе. Грамота была написана в двух списках: один в палату, один туда.

— Это старшинам суварских сёл, — сказал бек. — Правого берега. Всем. Отвезёшь в лес на третью реку. Там тебе скажут, как дальше. Прочтёшь вслух: там читать некому.

— Мне ему сказать, от кого?

— От палаты.

— Он спросит.

— От палаты, — сказал бек. — Больше ничего.

Ильдар кивнул так, как кивают люди, которые решили не спорить, но и не согласились.

— Коня дадут? — спросил он.

— Двух. Одного своего возьми, одного от палаты. И хлеба на дорогу на двоих.

— Я один поеду.

— Хлеба на двоих, — сказал бек. — Тебе назад ехать с людьми.

Ильдар подумал и засмеялся. Он засмеялся коротко, как смеются всадники, когда им говорят то, чего они сами не додумали.

— С людьми, — сказал он. — Ладно.

Бек разогрел воск над лампой.

Своей печати у него не было. Была печатка палаты, медная, с потёртыми краями, которую держали в ларце у старшего писца и выдавали под запись. Бек взял её утром и записал: взято для грамоты за Волгу, одна. Теперь он положил на свёрток шнур, капнул на шнур воском и приложил печатку. Воск лёг ровно, и знак палаты вышел весь, до последней черты.

Он подержал печатку на воске ещё вдох, чтобы застыло, и отнял.

Потом отдал свёрток Ильдару.

Глава 9. Гонец

Ятман. Сёнь Юман, конец августа 1236 года

Жали все и сразу, и полос не разбирали.

Так велел отец. В *Сурла уйхё* «месяц серпа» всегда жали по полосам, каждый двор свою, и спорили на межах, чья межа и чей колос свесился на чужое. В этот год отец обошёл три села за два дня и сказал в каждом одно и то же: жать всё подряд, всеми, начинать с дальних полей, свои ближние оставить напоследок. Кому что отдавать потом, решат старики. Причины он не сказал.

Шли по полю рядами по двенадцать, как косят луг, от края до края, мужики и бабы вперемешку. Вязальщики шли сзади. Дети подбирали колоски.

Ятман вязал.

Жать ему в этот год давали только до полудня, а с полудня ставили вязать, потому что палец, порезанный на зажине год назад, зажил криво, и серп в горсти у него ходил с перекосом. Вязал он быстро. Брал охапку, клал на колено, обводил жгутом из тех же стеблей, закручивал, подтыкал конец под перевязь. Сноп выходил тугой. Мать проверяла его снопы, поднимая за перевязь и встряхивая, и ни разу не сказала ничего, и это значило, что хорошо.

Снопы ставили в суслоны, по девять на сухом месте, по одиннадцать в низине, чтобы стояло крепче. Ятман ставил и считал. Счёт он вёл на осиновой бирке, которую отец выстрогал ему в дорогу к Волге, в месяц сенокоса. Тогда на бирке были ватаги, что шли навстречу, люди, которые ничего не продавали. Теперь на другой её грани стояли суслоны, по полям, и каждая зарубка была суслон, а каждая поперечная черта — поле.

К двадцатому дню жатвы на бирке было четыре поля и шестьсот с лишним суслонов.

— Ты их все считаешь? — спросил Бачман. Он носил снопы к суслонам и уставал носить.

— Все.

— Зачем? Они же стоят. Никуда не уйдут.

— Отец спросит.

— Отец и сам посчитает.

— Отец спросит у меня, — сказал Ятман.

Бачман подумал, взял два снопа под мышки и ушёл.

* * *

Гонец въехал в село на двадцать второй день жатвы, в сумерки.

Его увидели с поля. Сначала услышали: конь шёл по дороге от брода не рысью и не шагом, а тем ходом, каким конь идёт, когда рысью уже не может, а шагом ему не дают. Потом увидели. Конь был серый от пота, с пеной на груди. За ним на поводу шёл второй, порожний, и тоже в мыле.

Всадник не слез у околицы, как слезают чужие. Он доехал до середины, до кузни, где стояли люди, и остановился, и сидел, держась за луку обеими руками.

— Атнер, — сказал он. — Тут?

Никто не ответил сразу. Чужих здесь видели каждую неделю с весны, но те приходили пешком, с узлами, и спрашивали хлеба и дороги. Этот спрашивал человека.

Салих пробился вперёд. Он был широкий и медленный, и шёл он медленно, и когда подошёл, долго смотрел снизу на всадника.

— Ильдар, — сказал Салих.

— Салих?

— Ты же в городе.

— Был в городе, — сказал всадник. — Помоги слезть. Ноги не мои.

Салих взял его под мышки, как берут мешок, и снял. Ильдар встал на землю, покачнулся и сел прямо там, у кузни, на чурбак, на котором мать правила серпы.

Коней увели Урхас и Долгий. Отец велел их не поить сразу и не ставить, а водить. Урхас водил серого по кругу за кузней полночи, и Ятман, который не спал, слышал, как тот ходит: шаг, шаг, фыркание, шаг. Конь дышал тяжело, со стоном. К утру задышал ровнее.

Ильдар спал сидя.

Он заснул на чурбаке, пока мать несла ему молоко, и когда она подошла, он уже спал, прислонившись затылком к стене кузни, и кринку не взял. Отец пришёл с поля, посмотрел на него и велел принести лавку. Лавку принесли. Ильдара переложили на неё вдвоём, и он не проснулся, только сказал что-то про мост, и Салих, который стоял рядом, сказал, что это он про мост у ворот, что там доска гнилая, и что он и тринадцать лет назад про неё говорил.

Под головой у Ильдара, за пазухой, было что-то твёрдое. Салих нащупал это и не вынул. — Пусть спит, — сказал отец. — Утром.

* * *

Утром Ильдар вынул из-за пазухи свёрток.

Свёрток был в промасленной коже, перетянутой шнуром, и на шнуре висел комок воска с печатью. Ильдар развязал шнур и развернул кожу, и под кожей оказался лист, сложенный вчетверо, серый, с загнутыми углами.

Ятман стоял близко, у отца плеча, и видел лист.

На листе было написано. Ятман видел, что написано, и не видел, что. Знаки шли рядами справа налево, как идёт по воде рябь, если дует против течения, и были похожи на узор, который мастерицы вышивают по краю *сурпана* «женского покрывала», только мельче и без повтора. В узоре повтор есть всегда. Здесь его не было. Ятман искал его и не нашёл, и от этого лист показался ему неправильным, как неправильно ставят суслон.

— Читай, — сказал отец.

— Прочесть некому? — спросил Ильдар.

— Некому.

Ильдар кивнул, будто так и думал, и стал читать. Он читал по-булгарски и тут же говорил по-нашему, по кускам, и когда говорил по-нашему, смотрел не на лист, а на отца.

От хлебной палаты Великого города. Старшинам суварских сёл правого берега. Кто придёт с оружием на стены Великого города, тому от палаты хлебное довольствие на всё время службы, на человека и на коня, как положено ратным людям, по статье двенадцатой. Приходить к северным воротам. Предъявить эту грамоту. Быть вписану в книгу.

Он замолчал.

— Всё? — спросил Курак.

— Всё.

— А от кого?

— От палаты.

— Палата — это кто? — сказал Курак. — Палата — это дом. Дом не пишет.

— Имени нет, — сказал Ильдар. — Он не поставил.

— Кто — он?

Ильдар посмотрел на отца и не ответил. Отец тоже ничего не сказал. Он взял лист у Ильдара, подержал на весу и посмотрел на него так, как смотрел на незнакомый след: не читая, но запоминая.

— Вот это что? — спросил Ятман и показал пальцем в середину листа. Там, среди узора, стоял знак, не похожий на соседние: короткий, с хвостиком вбок.

Ильдар наклонился.

— Двенадцать, — сказал он. — Статья двенадцатая.

— Это число?

— Число.

Ятман смотрел на знак. Число было маленькое, меньше ногтя, и стояло посреди узора, как стоит в лесу зарубка на сосне: для того, кто знает, где искать. Он двенадцать лет думал, что числа режут, а не рисуют.

— Где его вешать? — спросил отец.

— Где хочешь, — сказал Ильдар. — Это тебе.

Отец понёс лист в *лаç* «летнюю кухню» и повесил на задний столб, на гвоздь, рядом с личиной. Лист висел криво, углом вниз.

* * *

Совет собрали в тот же вечер в большом овине за кузней.

Овин был пустой: сушить в нём начинали через три дня, и яму под очагом уже вычистили, а колосники ещё не положили. Пахло старым дымом и прелой соломой. Сели на солому кругом. Пришли старики из Хурәнләх и старик с выселка. Пришли Хурçă, Бажут, Курак, Салих, Гордята, Виряс, Ирсай. Тукташ сел не в круг, а к стене, где всегда садился на советах, потому что *юмăç* «сказитель» не решает, а помнит. Ярмула принесли на жерди с рогожей и положили на солому у входа, где воздух. Он лежал высоко, подложив под спину свёрнутый тулуп, потому что низко ему было тяжело дышать.

Ильдар сидел рядом с отцом.

Ятман стоял у двери со своей биркой.

Его поставили туда не в гости. Отец сказал: стой у двери и режь. На каждого, кто скажет, — зарубку. Кто скажет дважды — две. Не режь только тех, кто кашляет.

— Зачем? — спросил Ятман.

— Потом увидишь.

Грамоту Ильдар прочёл ещё раз, для хурәнләхских, которые не слышали утром. Прочёл так же: по-булгарски и по кускам по-нашему. Потом рассказал, что знал. Знал он немного и сказал коротко. У Яика в месяц пара сбили сторожу, из сорока вернулось девять. Палата послала гонцов по всей земле, от Камы до Черемшана. Суварский бек собирает под Суваром своих, шесть тысяч по росписи, и к *Авăн* «месяцу овинов» приведёт их в город, на восточную стену. В городе достраивают вал, и не достроили, и вряд ли достроят.

— Много их? — спросил Бажут. — Тех.

— Никто не считал, — сказал Ильдар. — Кто видел, говорит: дым до неба.

Молчали.

Первым заговорил Хурçă. Он и всегда говорил первым.

— Мы ушли, — сказал он. — Тринадцать лет назад. Со столбами простились, огонь унесли. Значит, нас там нет. Кто остался под эмиром, тот пусть и стоит. Вон их у бека шесть тысяч.

Ятман вырезал зарубку.

— Их шесть тысяч, а нас на трёх сёлах сто душ наберётся, — сказал Хурçă. — И грамота эта не нам. Старшинам суварских сёл правого берега. А мы кто? Мы на третьей реке. Нас ни в одной книге нет.

— Я помню, какая бумага была, — сказал Курак.

Он сказал это не громко, но все повернулись.

— Тринадцать лет назад, — сказал Курак. — На дороге под Ага-Базаром бумагу читали. Эмир велел нас усмирять. Нас. Правый берег. А кто не покорится — взыскать. И того, кто нас

поведёт, — взыскать с нами вместе. Я стоял рядом, я помню. А теперь та же палата пишет: придите, мы вас покормим.

— Не та же, — сказал Ильдар. — Хлебная.

— Палата — это дом, — сказал Курак. — Я сказал.

Ятман вырезал Кураку две.

Салих заговорил не сразу. Он сидел на соломе, как сидел на пасеке у колоды, — положив руки на колени ладонями вниз, — и смотрел в пустую яму под очагом.

— У меня брат в кожевном ряду, — сказал он.

Больше он ничего не сказал. Все знали, что у Салиха брат в городе, сапожник, рыжий, левое веко ниже, полмизинца нет, жена-половчанка, двое сыновей и дочь. Салих рассказывал это тринадцать лет у каждого костра, когда вспоминали город. Теперь он сказал только одно, и все замолчали, и Ятман не знал, резать ли ему за это зарубку, потому что сказано было мало. Он вырезал.

— Бургасов уже били, — сказал Ирсай. — Весной. На нижней Суре, на выселках, два села.

— Это разбойники были, — сказал старик из Хуря́нлāх.

— Разбойники не угоняют всех, — сказал Ирсай. — Разбойники берут, что унесут. Эти увели всех, кто ходит, а остальных оставили в избах. — Он помолчал. — Следующие мы. Бургасы, потом вы. Тут ближе, чем кажется.

— Ты за своих говоришь.

— Я за своих, — согласился Ирсай. — Мои тут тоже живут. Я тринадцать лет тут живу.

Виряс сидел молча. Гордята тоже. Гордята только раз поднял голову, когда Курак говорил про бумагу, и посмотрел на Курака, и опустил.

— Тукташ, — сказал старик с выселка. — Ты что скажешь? Ты у нас помнишь.

Тукташ сидел у стены. Он был молодой, двадцать шесть лет, и на советах садился так, будто его пустили посидеть.

— Юмāс идёт туда, где будут называть, — сказал он. — Если пойдут — я останусь. Тут называть будет кого.

Он сказал это просто, и Ятман сперва не понял, что это значит. Он думал, что Тукташ говорит: я останусь, потому что тут дети и старики, их надо называть. Он так и решил и потом долго так думал. Он вырезал Тукташу зарубку и заметил, что старики из Хуря́нлāх переглянулись.

С соломы у входа сказал Ярмул.

Голос у него был слабый, и его было слышно только потому, что все замолчали.

— Тринадцать лет назад мы ушли, чтобы жить, — сказал Ярмул. — Жить — не значит сидеть.

Он закрыл глаза. Больше он в тот вечер ничего не сказал.

Ятман вырезал зарубку.

Потом говорили все. Про жатву, про овины, про то, что город всегда брал, а не давал. Хурсā говорил ещё трижды, старик с выселка дважды, и оба раза про свой овин, который худой. Бажут сказал, что эрзянский конец сделает, как скажет совет, но пусть совет скажет. Гордята сказал, что если пойдут, то русские пойдут тоже. Больше он ничего не сказал.

Ятман резал.

К тому времени, когда в овине стемнело так, что лица стало видно только у тех, кто сидел ближе к двери, у него на бирке было тридцать восемь зарубок. У Хурсā шесть. У Курака четыре. У отца — ни одной.

Отец молчал весь вечер. Он сидел на соломе, как все, и слушал, и губы у него шевелились.

* * *

Потом отец заговорил, и заговорил не так, как говорили другие. Он стал считать.

Считал он вслух, негромко, как считал всегда, когда был неспокоен. Ятман знал этот голос.

— Дворов в трёх сёлах семьдесят два. Ртов — тысяча триста девяносто один. Мужиков от шестнадцати до пятидесяти — триста двенадцать. Из них больных и увечных — двадцать шесть. Остаётся двести восемьдесят шесть.

Он повернул голову к Кураку.

— Сколько надо, чтобы свезти всё, что стоит в суслонах?

— Если бабы будут возить — сто, — сказал Курак. — Если не будут — сто шестьдесят.

— Бабы будут возить. Сколько, чтобы обмолотить до снега?

— Столько же. Те же.

— Сколько, чтобы зимой возить дрова, ходить на лёд за рыбой и стеречь скот от волка?

— Меньше. Шестьдесят. Семьдесят.

— Семьдесят, — сказал отец. — Сколько, чтобы весной вспахать и посеять, если кто-нибудь не вернётся?

Курак помолчал.

— Если не вернутся, то все, кто есть, — сказал он.

— Все, кто есть, — повторил отец. Он смотрел в яму под очагом. — Сто пятьдесят шесть остаются. Сто тридцать можно взять. Больше нельзя: село не свезёт снопы и не доживёт до весны. — Он помолчал. — Сто тридцать.

Ятман держал нож над биркой и не знал, резать ли. Это было одно слово или много? Он вырезал одну зарубку. Потом, подумав, вторую.

— Сто тридцать, — сказал отец ещё раз. — Сто тридцать там лягут в первый день и никого не спасут. Их поставят на худую стену, где некому стоять, и они там лягут. Город этого не заметит.

Хурсә открыл рот, и отец поднял ладонь, и Хурсә закрыл.

— Если идти, — сказал отец, — то всем. Всем правым берегом, как тогда. Нашим шести сёлам, что осели по Суре. Волжским: Тикаш хули, Мән Юман, Хулашу, Шәхалю, всем, что под Таяпой. Эрзе. Марийцам. Бургасам. Русским. Всем, кто тогда стоял.

Было тихо. Где-то за стеной овина, у кузни, ходил конь Ильдара, и было слышно, как Урхас говорит ему что-то.

— Нас не позовут, — сказал старик из Хурәнләх. — Нас позвали. А их кто позовёт?

— Мы, — сказал отец.

— А если они спросят: зачем? Зачем нам идти к эмиру, который велел нас усмирять?

Отец повернул к нему голову.

— Мы идём не к эмиру, — сказал он. — Мы идём к тем, кого затопчут первыми. Хурәнвар. Шәхаль. Сёла у Волги. Сувар и сёла под Суваром, где у каждого второго из вас родня. Те, что остались, когда мы ушли. Кто в сёлах, кто у суварского бека на стене — братья ваши, сваты, дядья. Когда те, с востока, пойдут к городу, они пойдут через их сёла. Город закроет ворота. Сёла закрыть нечем.

Он замолчал и больше ничего не прибавил.

Ятман посмотрел на свою бирку. У отца теперь было четыре зарубки: одна за счёт, одна за «сто тридцать», одна за «всем» и одна за «не к эмиру». Он хотел вырезать ещё одну, за Хурәнвар, и не вырезал, потому что не знал, было это новое слово или то же самое.

* * *

Решали долго, но уже не спорили.

Решили так. Три села дают сто тридцать, от каждого двора, где есть кому, — по одному, и кто пойдёт, решают дворы, а не совет. Курак ведёт обоз, телеги дают все, по счёту. И шлют повестки. По всем суварским сёлам правого берега и по союзникам, всем, кто тринадцать лет назад стоял на Суре. Сходиться к великому молению у Мӑн Юман. В полнолуние *Авӑн уйӑхӗ* «месяца овинов».

— Там и решат, кто поведёт, — сказал старик из Хурӑнлӑх. — У котлов.

— У котлов, — сказал отец.

— А повестки как? — спросил Бажут. — Бумагу писать некому.

Отец повернулся к двери.

— Ятман.

Ятман шагнул от двери, и бирка в руке у него стала тяжёлой.

— Сколько дней до полнолуния Авӑн?

Ятман знал. Он считал луну с весны, потому что отец велел считать всё, а луну считать было легче всего: она сама показывает.

— Двадцать пять, — сказал он. — И сегодняшний. Если завтра утром резать первую, то двадцать шесть.

— Бирки, — сказал отец совету. — С зарубками. На каждой знак трёх сёл и двадцать шесть зарубок. Каждое утро в селе, куда её привезут, срезают по одной. Когда срезать нечего — это день. Кто не идёт, пусть отдаст бирку гонцу назад, целую. Кто оставит у себя — тот срезает и приходит.

Старики из Хурӑнлӑх подумали и кивнули. Это было понятно. Так считали долги и так считали дни до свадьбы, и никто не спросил, почему не словом.

— Сколько бирок? — спросил Курак.

Отец стал загибать пальцы.

— Шесть — нашим, что по Суре. Четырнадцать — волжским сёлам. Три — эрзе, Валдаю и его соседям. Три — марийцам, в Җармӑс ялӗ и дальше. Две — буртасам. Одна — городецким на Суре. Одна — в Таяпу, сотнику. — Он подумал. — И одна Ишлею. Отдельно. Он моление ставит.

— Тридцать одна, — сказал Кёвӗрке с порога.

Он стоял за Ятманом в дверях, хотя его никто не звал, и никто не заметил, когда он пришёл. На него оглянулись. Он покраснел.

— Т-тридцать одна, — сказал он тише.

— Тридцать одна, — сказал отец. — Режет Ятман.

Мать всё это время сидела на соломе у самой двери, с краю, как сидят женщины, которых позвали не решать, а слушать. Ятман видел её спину. Когда совет встал и пошёл к выходу, она встала последней. Отец проходил мимо неё, и она сказала:

— Надолго?

Отец остановился.

— Туда десять дней, — сказал он. — Обратно десять.

Мать подождала. Отец больше ничего не сказал. Она кивнула и ушла в кузню, и в кузне потом до полуночи было слышно, как она перекладывает железо с места на место.

* * *

Бирки Ятман резал ночью, в ла́с, при лучине.

Курак принёс ему липовых планок, наколотых ещё весной на dranku: ровных, в полторы ладони длиной, в два пальца шириной, сухих. Их было сорок. Курак положил их на стол и ушёл, ничего не сказав, и потом Ятман понял, что он принёс лишние нарочно.

Отец показал, какой знак.

— Три черты из одного корня, — сказал он и начертил ножом на столе. — Как корни у дуба, только наоборот. Режь на плоской стороне. Зарубки — на ребре. Глубоко не режь: им срезать.

— А если кто-нибудь срежет две сразу?

— Значит, придёт на день раньше, — сказал отец. — Беды нет.

Он постоял над столом, посмотрел, как Ятман вырезает первый знак, и ушёл спать. Больше он в ла́с не заходил. Ятман ждал, что он придёт посмотреть, и потом перестал ждать и понял, что отец не придёт, потому что эта работа не его.

Он резал знак, переворачивал планку на ребро и резал зарубки. Двадцать шесть. Потом следующую.

После пятой он посчитал, сколько всего будет зарубок: тридцать одна бирка по двадцать шесть. Восемьсот шесть. Число было большое, и он его испугался и перестал о нём думать, а стал думать о том, куда пойдёт каждая. Эта — в Тикаш хули. Эта — Ишлею. Эта — марийцам. Он не знал этих мест и представлял их по рассказам Ярмула.

После десятой у него заболели пальцы, и он стал резать левой рукой, держа планку правой, и зарубки пошли кривые, и он переделал две.

Кёвёрке пришёл после полуночи. Он постоял в дверях, посмотрел на стол, на готовые бирки, сложенные стопкой, и на стружку.

— Давай я зарубки, — сказал он. — А ты знаки.

— Мне велели.

— Т-тебе велели резать. А я буду резать с тобой.

Ятман подумал.

— Нет, — сказал он.

Кёвёрке не обиделся. Он сел на лавку у стены, подтянул колени и стал смотреть. Иногда он говорил, сколько осталось, не считая, и всегда верно. Потом заснул, сидя, как Ильдар, и Ятман накрыл его отцовым кафтаном.

Личина на столбе висела в темноте, и когда лучина вспыхивала, на ободке у прорезей вспыхивало золото, и Ятман каждый раз поднимал голову. Рядом висела грамота, углом вниз. Он встал и поправил её, чтобы висела ровно, и сел обратно.

Последнюю бирку он доделал, когда за дверью ла́с стало серо.

Их было тридцать одна. Он пересчитал трижды, по одной перекладывая из левой стопки в правую. Потом взял одну из лишних планок и вырезал на ней тот же знак и двадцать шесть зарубок. Эту он не положил в стопку. Он повесил её на гвоздь рядом с грамотой, на шнурке.

* * *

Гонцы уехали на рассвете.

Их было пятеро, и у каждого была своя связка. Ирсай взял две бирки буртасам и одну городецким, потому что ехал в ту же сторону, на Суру, а с городецкими у него был свой разговор. Гордята хотел ехать к городецким сам, но отец оставил его до вечера: к городецким можно и завтра, а русский конец надо было собрать сегодня. Виряс взял три эрзянские и уехал первым, пешком, потому что пешком по лесу у него выходило быстрее, чем у других верхом. Два парня из Хуря́нля́х, на своих конях, повезли шесть бирок в лесные сёла по Суре, по три каждый. Марийские бирки взял Долгий: он знал дорогу на Ырма́с я́лэ и немного знал язык.

Оставалось шестнадцать. Четырнадцать волжских, таяпинская и Ишлеева.

Они лежали на столе в ла́с, перевязанные лыком. Тукташ стоял над ними. Он пришёл проводить гонцов, как провожал всех, называя, кто куда уехал, и теперь стоял и смотрел на связку.

— А к волжским кто? — спросил он. — Туда просто гонца не пошлешь. Там тебя помнят.

Отец сидел за столом и ел хлеб с молоком, стоя коленом на лавке, как едят, когда торопятся.

Он доел, положил ложку и встал.

— Я пойду, — сказал он.

Он сказал это так, как говорил «Ровно», когда число сходилось. Тукташ кивнул. Мать у очага подняла голову, посмотрела на отца и опустила.

Ятман стоял у столба и держал свою бирку. Он снял её с гвоздя, пока отец ел, и держал, и не знал, можно ли уже. Нож был у него за поясом.

Отец посмотрел на него.

— Режь, — сказал отец. — День начался.

Ятман срезал первую зарубку. Стружка упала на пол. На бирке осталось двадцать пять.

Глава 10. Гонцы

Атнер. Правый берег: Тикаш хули — Шяхаль — Мян Юман — Мян Таяпа, август — сентябрь 1236 года

Шестнадцать бирок Атнер увязал в две связки и положил в перемётные сумы, по восемь на сторону, чтобы конь нёс ровно.

Коня седлал Салих. Салих всегда седлал сам, даже чужого, потому что не доверял чужим рукам подпругу. С ними ехали двое: Алмас, отец Кёвёрке, и хуря́нлэхский парень Тимрук, сын кузнечного подмастерья, девятнадцати лет, который просился в дорогу так, что Атнер взял его, лишь бы не слушать дальше. Тимрук держал в поводу заводного и улыбался всему, на что смотрел.

Сарпи подошла, когда Атнер уже взял повод.

Она пришла не одна. За ней шла Пинерпи, медленно, в тёмном, и смотрела в землю, как смотрела всегда, будто искала обронённую иглу.

— Лучниц возьмишь, — сказала Сарпи.

Она не спросила. Атнер посмотрел на неё сверху, с седла.

— Нет.

— Почему?

— Потому что нет.

— В тот год, когда уходили, ты их брал, — сказала Пинерпи, не поднимая головы.

— Тогда мне было тридцать три, — сказал Атнер.

— А мне было семнадцать, — сказала Сарпи. — Сейчас тридцать. И я стреляю лучше.

Ты видел, как я стреляю. Все видели.

Атнер видел. Зимой, после торга в Таяпе, Виряс рассказал ему про волок на Суре, про трёх беглых с дубьём и про шапку, сбитую с сорока шагов, и рассказал так, будто рассказывал про погоду, а глаза у него были другие. Сарпи с той зимы не убирала лук в короб.

— Скольких ты соберёшь? — спросил Атнер.

— Своих восемь. Они стреляют.

— Восемь — это ничего.

— Тогда скажи сколько, — сказала Сарпи.

Он подумал. Ему хотелось сказать «несколько» и уехать. Он знал, что если скажет, она не пойдёт с ними, а пойдёт за ними, и это будет хуже.

— Сотню, — сказал он. — Со всех сёл. Кто стреляет, а не кто хочет. В волжских сёлах я скажу сам. В лесные пошли с теми, кто поедет за нашими гонцами.

Сарпи кивнула, как кивают на цену, которую ждали.

— Сотню, — повторила она.

Пинерпи подняла голову, посмотрела на Атнера, на коня, на сумы с бирками, ничего не сказала и пошла назад к мастерской. Сарпи пошла за ней.

Салих подтянул подпругу и хлопнул коня по шее.

— Соберёт, — сказал он.

— Соберёт, — сказал Атнер.

* * *

До Тикаш хули ехали шесть дней, конными.

Дорогу Атнер знал и не знал. Тринадцать лет назад он прошёл её в обратную сторону, пешком, рядом с Кураковой телегой, в которой лежала на соломе Ирпике, а впереди шёл Ахтупай с палкой, и под ногами была чёрная земля, и сзади шли девятнадцать дней. Теперь он ехал

верхом, и шесть дней, и земля была сухая, в августовской пыли, и дорога на половине пути стала наезженной, как бывает, когда по ней ездят не лесные, а торговые люди. Лес кончился на пятый день. Пошли поля, берёзовые колки, овраги с ручьями. Поля были сжаты.

— Тут жнут раньше, — сказал Тимрук.

— Тут теплее, — сказал Салих.

— Тут знают, — сказал Атнер.

Салих посмотрел на него и ничего не сказал.

* * *

В Тикаш хули их встретили у ключа.

Ключ бил из-под камня у нижней улицы, как и тринадцать лет назад, и у ключа стояли бабы с ведрами и смотрели. Потом одна поставила ведро и ушла в проулок быстро, не оглядываясь. Через время пришли старики.

Их было пятеро. Атнер помнил двоих. Одного он помнил молодым мужиком с чёрной бородой, который тогда вёз у Ярмула телегу; теперь борода у него была белая и короткая, по-волжски стриженная. Второго он помнил стариком, и тот был стариком и сейчас, только меньше ростом.

— *Ылтӑн Пит* «Золотое лицо», — сказал тот, с короткой бородой.

— Атнер, — сказал Атнер.

— Атнер, — согласился старик. — Ярмул жив?

— Лежит. Жив.

— Он у нас был *юмӑс* «сказитель», — сказал старик. — Двадцать лет. Потом ушёл с тобой, и мы без юмӑса жили, пока свой не вырос. Свой плохой. Сбивается. — Он помолчал. — Ты зачем приехал?

Атнер слез с коня, развязал суму, достал бирку и подал.

Старик взял её, повертел, посмотрел на знак, на зарубки. Провёл по ним ногтем.

— Это что?

Атнер сказал. Сказал коротко: палата зовёт на стены, всем правым берегом, как тогда. Сходиться к великому молению у Мӑн Юман, в полнолуние. Сколько зарубок — столько дней.

— Ты эту бирку когда резал?

— Шесть дней назад.

Старик пересчитал зарубки ногтем. Потом достал нож из-за пояса и срезал шесть, одну за другой, не торопясь. Стружки упали на камень у ключа, и вода их унесла.

— Двадцать, — сказал он. — Так?

— Так.

Старики стояли и смотрели на бирку в его руке.

— Девяносто, — сказал тот, что был стариком и тринадцать лет назад. Он сказал это не Атнеру, а остальным, и остальные кивнули, будто они уже сговорились раньше, без него. — Девяносто дадим. Больше не дадим, у нас хлеб в поле.

— Девяносто, — сказал Атнер.

— Сорок наших ещё с *Сурла* «месяца серпа» у суварского бека, — сказал старик. — Их по росписи взяли, к беку под Сувар. Оттуда — в город. Кто в мечеть ходит, кто нет — взяли всех, кто в книге. Эти девяносто — которых в книге нет.

— А кто поведёт? — спросил тот, с короткой бородой.

Атнер ждал этого вопроса все шесть дней. Он ждал его в каждом селе и знал, что ответа у него нет.

— Решат у котлов, — сказал он.

Старик посмотрел на него долго, потом на Салиха, потом на двух молодых у коней. Потом сунул бирку за пазуху.

— У котлов, — сказал он. — Ладно.

Ночевали у него. За ужином говорили про соль, про то, что в Таяпе соль вчетверо, про то, что за Волгой, говорят, пусто в сёлах у Камы. Про войну не говорили. Уже ложась, старик сказал в темноте, никому:

— Тринадцать лет ждали, что ты вернёшься. Ты вернулся. С биркой.

Атнер лежал и не отвечал, и старик больше ничего не сказал.

Утром, до отъезда, он сходил к нижнему краю села, к двору, который ему описал Курак: третий от оврага, с липой у ворот. Там жила Куракова сестра. Тринадцать лет назад она не пошла: муж не пустил. Муж умер. Она вышла к воротам, высокая, как Курак, с его носом, и выслушала, что брат жив и что велел кланяться, и кивнула так же, как кивал Курак, когда ему говорили число.

— Старший мой у суварского бека, — сказала она. — С Сурла. Младший пойдёт с тобой. Он уже бирку видел. — Она помолчала. — Скажи брату: один там, другой с тобой. Он поймёт.

Атнер сказал, что скажет.

Дубраву у Мян Юман они проехали в тот же день, по дороге на Шяхаль, не заезжая. Она стояла на пологом бугре за околицей, справа от дороги, и Атнер смотрел на неё, пока она не ушла за спину. В памяти она была больше. В памяти в ней было семь котлов на цепях, тысяча человек в белом, жаворонок над полем и Ахтупай, который держит его за рукав и говорит: после. Теперь это был просто бугор с дубами, редкими, и сквозь них насквозь было видно поле.

— Не заедешь? — спросил Салих.

— К Ишлею с биркой не ездят, — сказал Атнер. — К нему приезжают, когда есть с чем. Он сам не знал, откуда это взял. Но так было правильно, и Салих кивнул.

* * *

В Шяхаль Атнер поехал сам, с одним Тимруком.

Салих с Алмасом повезли три бирки в Хулаш и в сёла под ним, по старой береговой дороге. Шяхаль стоял в стороне, на излучине, и Атнер его помнил хуже других. Летом он ночевал там одну ночь, у братьев Хурсё, и выехал затемно низом. А тринадцать лет назад он проезжал Шяхаль на исходе, в сумерках, и помнил только старика на лавке у ворот, который называл двory уходящим, и двory уходили мимо него, а он оставался.

Лавка стояла у тех же ворот. На ней сидел другой старик.

Ему было за семьдесят. Он сидел, упершись руками в колени, в чистой рубахе, в шапке, хотя было жарко, и смотрел на дорогу. Атнер слез за двадцать шагов и подошёл пешком, ведя коня в поводу. Тимрук остался у околицы.

— Эльпук *мучи* «дед» жив? — спросил Атнер.

— Помер, — сказал старик. — На третью зиму. Я за него сижу. — Он смотрел на Атнера снизу. — Я тебя знаю.

— Я тебя не помню.

— Ты меня и не видел. Я тогда за его плечом стоял. Он называл, а я слушал, чтобы потом повторять, когда он забудет. Он не забыл.

Атнер кивнул.

— Хурсё у тебя? — спросил старик. — Летом был, у братьев сидел, а ко мне не зашёл.

— У меня.

— Живой?

— Живой. Говорит много.

— Он всегда говорил много, — сказал старик. — Он мне двоюродный. Он к жене в Хурянвар ушёл молодым, а оттуда с тобой. Скажи ему, что Шяхаль стоит.

— Скажу.

Атнер развязал суму и достал бирку. Старик не взял её сразу. Он смотрел на неё в руке у Атнера, как смотрят на чужую вещь, которую принесли показать.

— Я знаю, что это, — сказал он. — Мне из Тикаш хули утром сказали. У нас быстро говорят.

Атнер молчал.

— Эмир нас в книгу писал, — сказал старик. — Приезжал писец, молодой, в зелёном кафтане. Сел у меня на этой лавке и писал: дворов столько, душ столько, слепых столько. Потом уехал. Потом пришла бумага: разыскать. И велел эмир тебе же нас и умирять. Помнишь?

— Помню.

— А ты ушёл, — сказал старик. — И увёл своих. А мы остались. Эльпук сидел на этой лавке и называл, а вы шли мимо. Я стоял за его плечом.

Он не повышал голоса. Он говорил так, как говорят про погоду прошлого года.

— Мы остались, — повторил он. — И нас не усмирили, потому что умирять было некому: тот, кому велели, ушёл. Приезжал потом другой писец. Посмотрел на наши дворы, записал, что недоимка, и уехал. Больше никто не приезжал. Тринадцать лет.

Атнер стоял с биркой в руке и ничего не говорил.

Он не знал, что сказать. Всё, что он мог бы сказать, было правдой, и всё было не про то. Он думал, что старик ждёт от него чего-то — чтобы он повинился, или чтобы стал объяснять, — и понимал, что если скажет хоть слово, старик встанет с лавки и уйдёт в избу, и бирка останется у него в руке.

Старик подождал.

Потом протянул руку, взял бирку и положил себе на колено. Достал нож. Посмотрел на Атнера.

— Сколько сегодня?

— Седьмой день, — сказал Атнер. — Деятнадцать останется.

— Деятнадцать, — сказал старик. Он пересчитал зарубки и срезал шесть, одну за другой, а потом, помедлив, срезал седьмую. — Это за сегодня.

Он поднял бирку и показал Атнеру. Потом сунул её в шапку, за подкладку, как суют то, что берегут.

— Шяхаль придёт, — сказал он. — Мы и тогда пришли бы, если бы звали. Тогда не звали.

Атнер поклонился ему. Он не кланялся никому, кроме Ахтупая, с того самого лета.

Старик кивнул и стал опять смотреть на дорогу.

* * *

Отказ он получил в одном селе из четырнадцати, у самой воды, ниже Шяхаль.

Старшина там был молодой, лет сорока, толстый, и говорил вежливо. Он взял бирку, выслушал, подержал и отдал назад.

— Тринадцать лет назад вы ушли без нас, — сказал он. — Теперь идите без нас.

Атнер взял бирку. Он хотел сказать, что без них тогда никто не уходил, что их звали и они не пошли, но это была неправда наполовину, и он промолчал. Он сунул бирку в суму, к остальным, и уехал, и Тимрук оглядывался на село до самого поворота.

— Почему ты ничего не сказал? — спросил он потом.

— Он сказал правду, — сказал Атнер.

— Какую правду? Он же боится.

— И это правда, — сказал Атнер.

Тимрук подумал и сказал, что в Хуря́нлях так не боятся. Атнер не ответил. Он думал о том, что в этом селе сорок дворов у самой воды и что если те, с востока, пойдут через Волгу, то пойдут здесь, и никакой вежливости не хватит.

* * *

К Ишлею он приехал на девятый день, когда в суммах оставалось две бирки: его и таяпинская.

Мя́н Юман стоял под дубравой, как стоял. Ишлей жил в крайней избе, у самой роши, и, когда Атнер подъехал, сидел на пороге и чистил ножом репу. Он был маленький, как и тринадцать лет назад, только ещё меньше, и весь белый: рубаха, порты, голова. Руки у него были сухие и чистые.

Он узнал Атнера, отложил репу и встал.

— Ты, — сказал Ишлей.

— Я.

— Мне говорили, ты по сёлам ездешь. Ждал.

Атнер слез с коня. Ишлей не пригласил его в избу. Он пошёл к роше, и Атнер пошёл за ним, ведя коня в поводу, и у края роши Ишлей остановился, и Атнер привязал коня к берёзе за межей, а не к дубу, как привязал бы любой другой, и Ишлей это видел.

— Бирку привёз? — спросил Ишлей.

— Привёз.

— Давай.

Атнер отдал. Ишлей посмотрел на знак, на зарубки, срезал сколько надо, не спрашивая, какой сегодня день: знал.

— *Мя́н чй́к* «великое моление» ставить, — сказал он.

— Мя́н чў́к.

— В полнолуние *Ава́н* «месяца овинов».

— В полнолуние.

Ишлей постоял, глядя в рошу.

— Великое моление не для войны, — сказал он.

— Для чего? — спросил Атнер.

— Для того, чтобы все были вместе.

— Вот и будут, — сказал Атнер.

Ишлей повернул голову и посмотрел на него. Смотрел он долго, снизу, прищурясь, как тринадцать лет назад смотрел Ахтупай на человека, который чинит плетень не с того конца.

— Сколько придёт? — спросил он.

— Не знаю. Тысячи.

— Котлов сколько?

— Не знаю.

— Узнай, — сказал Ишлей. — Мне надо знать, сколько котлов, чтобы знать, сколько скота. И дров. И где им стоять, чтобы дым шёл не в рошу. — Он помолчал. — Бык нужен. Бараны. Кто даст?

— Сёла дадут.

— Сёла дадут, — повторил Ишлей. — Хорошо.

Он больше не спорил. Он повернулся и пошёл к избе, и у порога сел обратно и взял репу, и стал чистить её дальше, и, не поднимая головы, сказал:

— Иди поешь. Потом поедешь.

* * *

В Мӓн Таяпа они въехали вчетвером: Салих с Алмасом догнали его у роши.

Таяпа стояла, как стояла, на валу, с воротами и башней над воротами, и над башней висел на шесте выгоревший до белого флажок гарнизона. Сотник принял их у себя, в доме у ворот. Он был булгарин, лет пятидесяти, с тяжёлыми веками и с руками, которые не знали, куда им деться на столе. Про грамоту палаты он уже знал: гонец из города проезжал через Таяпу две недели назад, по дороге на юг.

— Людей у меня мало, — сказал сотник. — Меня тут поставили вал держать. Вал без меня не стоит.

— Я не прошу тебя, — сказал Атнер.

— А кого?

— Кто есть.

Сотник посмотрел на Салиха. Салих сидел у двери на лавке и смотрел в окно, во двор, где коновязь.

— У меня шестьдесят конных, которые не мои, — сказал сотник. — Всадники, что осели у Таяпы после того лета. Кто из вашего авангарда, кто из стражи, кто из кипчаков, что пришли служить и остались. Живут своими дворами, землю пахут. Я их зову, когда надо. Они мне не подвластны, и кормлю я их, только когда зову.

— Позови, — сказал Атнер.

— На время, — сказал сотник. — Я тебе их даю на время. Запомни.

— Запомню.

— И сам я не пойду.

— Не ходи, — сказал Атнер.

Сотник, кажется, ждал, что его будут уговаривать, и когда не стали, опустил руки на стол.

Шестьдесят приехали к вечеру. Приехали по двое, по трое, со своими конями, в своих кольчугах, у кого были, в стёганных кафтанах, у кого не было, и каждый вёз с собой мешок и котёл. Салих вышел к ним во двор и стоял, пока они съезжались, и Атнер видел в окно, как трое из них слезли с коней раньше других и подошли к Салиху пешком. Это были старики. Атнер узнал одного по посадке, второго по шраму через щёку. Третьего не узнал. Салих обнял всех троих, по одному, долго, и старики смеялись и хлопали его по спине.

Больше Салих в тот вечер в дом не заходил. Он сидел во дворе у костра с шестьюдесятью, и ночью Атнер слышал, как он говорит им что-то ровным голосом и как они молчат. Салих говорил так тринадцать лет назад, когда был десятником.

Утром он сказал:

— Мои.

— Твои, — сказал Атнер.

* * *

Домой ехали пять дней, торопясь, меняя коней, и на третий день их догнали вести.

Первым догнал Долгий, на дороге у Суры. Он возвращался от марийцев, на чужом коне, потому что свой охромел, и привёз две бирки из трёх оставленными и одну назад. Третью ему вернули в дальней деревне за Ҷармӓс ялӓ, где свой *карт* «жрец» сказал, что роща не пускает. А в Ҷармӓс ялӓ его принял сам Чоткар, в белом, у той же роши, куда тринадцать лет назад бек вешал на сук куниц.

— Он сказал, придёт сам, — сказал Долгий. — С котлами. Сказал: сколько — увидишь. И велел сказать тебе слово в слово.

— Скажи.

— «Скажи Ылтӓн Питу — мы помним, кто у Луки стоял».

Атнер кивнул. Долгий ждал, что он спросит, что это значит, и Атнер не спросил. Ирсай ждал их дома.

Он вернулся с Суры за день до них, и когда Атнер въехал в село, Ирсай сидел у кузни на том же чурбаке, где сидел Ильдар, и чистил лук. Он встал.

— Кулай отпускает триста, — сказал он. — Стрелков. Сам остаётся. Сказал: «Меня не проси. Я сёла стерегу». Ещё двадцать дадут соседи. — Он помолчал. — Вторую бирку я привёз назад.

Он достал её из-за пояса и положил на чурбак. Бирка была целая, все зарубки на месте.

— Не пошли? — спросил Атнер.

— Некому идти, — сказал Ирсай. — Это то село, что весной. Я доехал. Там никого. Двери открыты. Я бирку положил на порог, а потом забрал назад, потому что её там никто не срежет.

Виряс пришёл вечером, пешком, из леса, как уходил. Сказал, что эрзянский старшина с Мокши, Валдай, собирает своих и соседских, и что будет четыреста с лишним, если никто не передумает, и что Валдай передумывать не станет, потому что его старший сын в прошлом году ушёл за Суру с товаром и не вернулся.

Гордята вернулся от городецких в тот же вечер, затемно. Три десятка охотников, сказал он. И шестеро своих, с русского конца. Сорок без четырёх.

— А с тобой? — спросил Атнер.

— Со мной тридцать семь, — сказал Гордята. — Неждана велела считать меня. Сказала, в прошлый раз не считали, так я и шёл, как не свой.

Он засмеялся. Атнер тоже.

* * *

Кужеват пришёл к нему вечером, в *лас* «летнюю кухню», с собакой.

Собака легла у порога, рыжая, седая по морде, и положила голову на лапы. Кужеват сел на лавку напротив, не спрашивая, и положил на стол свой нож.

— Я иду, — сказал он.

— Нет, — сказал Атнер.

Кужеват не удивился.

— Почему?

— Потому что если придут сюда, кто-то должен знать, где лес держит, — сказал Атнер. — Ты знаешь. Виряс знает. Виряс идёт.

Кужеват посмотрел на нож на столе, взял его и сунул за пояс.

— Кто ещё остаётся? — спросил он.

— Тукташ. Бажут. Хурсә. Долгий.

— Хурсә говорит много.

— Хурсә держит засов, — сказал Атнер. — Он в тот год, когда уходили, держал ворота на городище. Говорил и держал.

Кужеват подумал, кивнул, встал. Собака встала тоже. У порога он обернулся.

— Если придут сюда, — сказал он, — я их встречу. Не у села. В лесу. Там, где они не ждут.

— Знаю, — сказал Атнер.

Сарпи пришла, когда Кужеват ушёл.

Она не села. Она стояла у порога, где лежала собака, и держала в руке пучок палочек, связанных ниткой. Палочки были разной длины и разного дерева: липа, ива, осина, одна дубовая.

— Это что? — спросил Атнер.

— Сёла, — сказала Сарпи. — Каждая — село. Зарубки — кто придёт. Я их у гонцов брала и у тех, кто приходил сам. — Она положила пучок на стол. — Своих восемь. С Хурәнләх

две, сёстры, с выселка ни одной. С лесных сёл по Суре двадцать шесть. Из волжских мне Салих сказал, пока ты коня ставил. С Тикаш хули десять. С Шәхаль шесть. Из-под Таяпы пять. С Мән Юман девять. С Хулаша двенадцать. Остальные придут сами к котлам. Всех сто двадцать.

Атнер пересчитал палочки. Потом зарубки.

— Ты сказал сотню, — сказала Сарпи. — Я собрала сто двадцать. Двадцать лишних — на то, что будет.

Она не сказала, что будет. Он не спросил.

* * *

Ночью он считал бирки.

Не те, что ушли, а те, что вернулись. Они лежали на столе в ла́с в ряд, при лучине, и их было четыре. Одна из села у воды, от вежливого старшины. Одна от марийского карта, у которого роща не пускает. Одна Ирсаева, с порога пустого села. И одна с Суры, из лесного села, где в июле был мор и хоронили до сих пор; её привёз хурәнләхский гонец вместе со словами старосты: пришли бы, да некому стоять.

Все четыре были целые. На всех стояли все двадцать шесть зарубок. Никто их не срезал.

Он положил их рядом и посмотрел.

Тридцать одна ушла. Четыре вернулись. Двадцать семь остались там, куда их везли, и там их каждое утро кто-то срезал, по одной, ножом, у ключа, на лавке у ворот, на пороге избы у рощи. Он сидел и считал вслух, шёпотом, как считал в амбаре меры, когда думал, что все спят.

— Двадцать семь, — сказал он.

На гвозде на заднем столбе висела личина. Под ней, на шнурке, — бирка Ятмана, на которой оставалось одиннадцать зарубок. Рядом, углом вниз, висела грамота. Кто-то поправил её, пока его не было, и она снова съехала.

Атнер встал, поправил грамоту и задул лучину.

Глава 11. Две тысячи наконечников

Сарпи. Сѣнѣ Юман, кузня и мастерская, август — сентябрь 1236 года

Горн в кузне не гас девять дней.

Сарпи ходила туда каждое утро за наконечниками и каждое утро заставляла одно и то же: Ирпике у наковальни, мальчишек у меха, жар, который било в лицо ещё с порога, и короб у двери, в котором за ночь прибывало. Короб был берестяной, с крышкой, и Ирпике складывала в него наконечники десятками, связывая каждый десяток лыком за черешки, чтобы не путаться. Десять десятков — короб полный. Полный короб она ставила на полку и начинала следующий.

Железо было таяпинское, в прутках, то самое, что Сарпи брала зимой на торгу вместо серебра. Его не хватило бы и на треть. Остальное несли со дворов: старые серпы, треснувшие сошники, дверные петли, гвозди из разобранного амбара, обод от колеса. Несли без спросу, клали у кузни в кучу, и Ирпике перебирала эту кучу по вечерам, откладывая то, что годится, а что не годится — бросала в угол, не говоря ни слова. Хозяин потом приходил и забирал своё из угла, тоже молча.

— Гранёные, — сказала она Сарпи в первый день. — Узкие. Все.

— А широкие?

— Широкие — на коня, — сказала Ирпике. — Коня не быют.

Она брала прутки клещами, совала в углы и держала, пока конец не становился жёлтым. Потом на наковальню. Три удара — оттянуть. Повернуть. Три удара. Ещё повернуть. Ирпике била коротко и часто, небольшим молотом, и после каждого поворота на конце прутка прибавлялась грань, и через двенадцать ударов там было жало о четырёх гранях, длиной в палец, узкое, как шило. Потом она отсекала его зубилом, оставив хвост на черешок, оттягивала черешок, тонкий, чтобы входил в древко, и бросала готовое в кадку. В кадке шипело.

— Это в кольчугу, — сказала она. — Кольцо раздвинет.

— Ты видела кольчугу? — спросила Сарпи.

— Салихову. Я ему её чинила.

Ятман с Кёвѣрке качали мех по очереди, сменяясь, когда Ирпике говорила «меняй». Она говорила это не глядя, по звуку: когда мех начинал дышать неровно, значит, тот, кто качал, устал. Мальчишки были чёрные до пояса. У Ятмана на плече вздулся пузырь от искры, и он его не трогал.

Сарпи брала полный короб и уносила.

Каждое утро гонцы или те, кто ездил в соседние сѣла с вестями, говорили одно: там тоже куют. В Хуря́нлѣх куёт свой кузнец, старый, одной рукой, а второй держит его сын. На выселке кузни нет, и выселок носит железо сюда. Гонец из лесного села по Суре сказал, что у них горн тоже не гаснет, и что он ехал ночью и слышал молот за версту до околицы, и так узнал, что доехал.

Сарпи думала об этом, когда шла от кузни к мастерской с коробом. Думала, что если бы можно было встать сейчас на самое высокое дерево на правом берегу, то было бы слышно, как по всему лесу быют молоты, в каждом селе, где срезают бирку, и каждый молот бьёт своё и не в лад с соседним.

* * *

Древки готовили старики.

Их сидело под навесом у мастерской шестеро, и перед каждым лежала куча прямых берёзовых и сосновых прутьев, наколотых ещё зимой и высушенных на чердаках. Старики строга́ли их ножами до ровного, проверяли на глаз, поднимая к свету, и кривые откладывали, чтобы

распарить и выправить. Работали молча. Один, старик с выселка, пел себе под нос без слов и сам этого не слышал.

Мастерицы сидели внутри.

Мастерская была длинная изба с двумя окнами на юг и станом у каждого окна, но станы в эти дни стояли пустые. На лавках вдоль стен шили кёпе. Белые рубахи, кёпе«белая рубаха», новые, из полотна, которое ткали всю зиму на себя, а теперь резали на других. Каждую шили на человека, по мерке, которую приносили со двора верёвочкой с узлами: ворот, плечи, длина. Шили быстро. Вышивали медленнее.

Вышивка шла по вороту, по плечам и по концам рукавов, красной нитью, тем узором, которым вышивали всегда: ромб, от ромба ветви, между ветвей знак. Узор был не для красоты. Все это знали, и никто этого не говорил, как никто не говорит, зачем на дверь вешают подкову.

Илемпи сидела у дальнего окна, где светлее, и делала другое.

Она брала готовую рубаху, выворачивала подол и на изнанке, у самого шва, мелко, чёрной нитью, вышивала знак рода. Тот знак, который ставят на *юпа*«памятный столб». Маленький, в ноготь, на изнанке, где его никто не увидит, пока рубаха на человеке.

— Это зачем? — спросила одна из молодых, из хуря́нлэхских. Спросила громко, как спрашивают дети.

Илемпи подняла голову.

— Чтоб узнали, — сказала она шёпотом, как говорила всегда.

Молодая хотела спросить, кто узнает и когда, и посмотрела на Илемпи, и не спросила. Больше про это в мастерской не говорили. Но после того дня все, кто дошивал рубаху, сами несли её Илемпи, прежде чем отдать, и Илемпи выворачивала подол, и так было с каждой.

Пинерпи сидела у печи и резала полотно на полосы.

Она резала их ножом, длинными, в ладонь шириной, и сматывала каждую в тугой валик. Валики она складывала в корзину у ног. Корзина была уже полная, и рядом стояла вторая. Пинерпи не поднимала головы. Она резала с утра до вечера все девять дней, и за все девять дней Сарпи не услышала от неё ни слова, кроме «подай» и «ещё».

Что это за полосы, тоже никто не спрашивал.

* * *

Лучницы начали собираться на третий день.

Своих было восемь. Сарпи знала каждую так, как знают руки: у кого тетива ложится к уху, у кого к углу рта, кто дёргает, кто задерживает, кто на третьей стреле начинает спешить. Они стреляли вместе все тринадцать лет — зимой по снопам на льду, летом по пням, на *улах*«зимних посиделках» и просто так, — и Сарпи никогда не думала, что это для чего-то.

Остальные шли из соседних сёл.

Сначала пришли две из Хуря́нлэх, сёстры, с одним луком на двоих. Потом с выселка ни одной, и выселок прислал сказать, что у них девки только малые. Потом из лесных сёл по Суре, по две, по три, по пять, с узлами за спиной и с луками в чехлах, пешком, иногда с братом или отцом, который провожал до околицы и сразу поворачивал назад. Одна пришла одна, лет сорока, вдова, с луком без чехла, и сказала, что стреляла по уткам всю жизнь и что утка меньше человека.

Лесных сёл было шесть, и во всех жили такие же, как на третьей реке: ушедшие тринадцать лет назад. Сарпи спрашивала каждую, чья она и откуда, и каждая называла двор, и потом почти каждая прибавляла: а там, у Волги, у меня остались. Брат у суварского бека в росписи. Дядя в Суваре. Мать в Тикаш хули, не пошла тогда, ноги. Сарпи слушала и кивала. Её собственная улица в Суваре, где она выросла, где стоял отцов двор с тремя конями, была сейчас там же, где была, и с той улицы, она знала, половина мужиков стояла теперь в городе у бека.

Она не знала, кто из них жив. Она тринадцать лет про это не думала и теперь думала каждый вечер, оперяя стрелы.

Сарпи ставила им счёт.

Она поставила сноп у дальнего края выгона, за шестьдесят шагов, и каждой давала десять стрел. Сколько в снопе — столько ей и счёт. Считала вслух, при всех.

Шесть. Восемь. Четыре. Семь. Девять.

Та, что с утками, положила восемь и сказала, что сноп стоит, а утка летит.

Лучше всех стреляла Лисьеглазая.

Её звали так все тринадцать лет, с того лета, когда она пришла в отряд из Суvara с Сарпи и ещё трем: глаза у неё были узкие, рыжие, и смотрела она ими всегда искоса, будто прицеливалась. Ей было тридцать, как Сарпи. Она положила в сноп десять из десяти, одна к другой, так что древки в снопе стояли пучком, и повернулась к остальным.

— Вот так, — сказала она. — Смотрите, пока я добрая.

Молодые засмеялись. Сарпи не засмеялась и ничего не сказала. Она пошла к снопу, выдернула десять стрел и принесла их назад.

— Десятницей над первыми, — сказала она. — Над теми, у кого девять и десять.

— За то, что лучше всех? — спросила Лисьеглазая.

— За то, что громче всех, — сказала Сарпи. — Тебя слышно.

Лисьеглазая подождала, не скажет ли Сарпи ещё что-нибудь. Сарпи не сказала. Лисьеглазая пожала плечами и пошла к своим, к трём, у кого было девять, и сразу стала им говорить, как надо держать локоть.

Сарпи разбила всех на десятки. Десятниц поставила сама, не спрашивая: тех, кто не спешит на третьей стреле.

* * *

На пятый день она полезла на крышу овина.

Крыша была покатая, соломенная, и держала плохо, и Сарпи легла на неё животом у самого конька и посмотрела вниз, на выгон. Потом крикнула, чтобы под стену овина поставили сноп, в пяти шагах от стены.

Сноп поставили.

Она выстрелила вниз, почти отвесно, и стрела вошла в землю у снопа, не задев. Она выстрелила ещё. Опять мимо. Третья попала.

Лучницы стояли внизу и смотрели вверх.

— Это зачем? — крикнула Лисьеглазая.

— Затем, что там стена, — сказала Сарпи сверху. — Со стены стреляют вниз. Вниз по-другому. Стрела идёт не туда, куда смотришь. Кто лезет на стену — он под тобой, близко, ты его видишь сверху, одну шапку.

Она сползла к краю и прыгнула.

— По одной на крышу, — сказала она. — Каждой пять стрел вниз.

До вечера они лазили на крышу по очереди, и солома под ними съехала на полкрыши, и хозяин овина пришёл и ругался, и Бажут пришёл и сказал хозяину что-то, и хозяин ушёл. Вниз попадали плохо. Лисьеглазая попала три из пяти и в первый раз ничего не сказала.

Потом Сарпи поставила их в ряд.

— Когда стреляют по одной, — сказала она, — они видят, откуда стреляют, и прячутся за щит. Когда стреляют разом — прятаться некуда. Считаю я. На «три» — все.

Она вспомнила, как это было на Суре тринадцать лет назад, у брода, когда Атнер стоял на валу городища и считал. Он считал не громко, но слышно было всем. *Пёрре, иккё, виççё* «раз,

два, три». На «три» стрелы уходили разом, со всего вала, и было слышно, как они уходят: один звук, как если бы кто-то рвал полотно.

— *Пёрре*«раз», — сказала она. — *Иккё*«два». *Виççё*«три».

Вышло вразнобой. Три стрелы ушли на «иккё», две опоздали.

— Ещё.

К вечеру вышло почти разом. Звука, как рвут полотно, не было. Было как если бы кто-то бросил на доски горсть гороха.

— Хватит, — сказала Сарпи. — Завтра опять.

* * *

На восьмой день пришёл Кужеват с конём.

Сарпи позвала его сама. Сноп стоит, а человек на коне не стоит, и лучница, которая всю жизнь была по снопу, в скачущего попадёт, только если он сам наедет на стрелу. Кужеват выслушал её, почесал собаку за ухом и сказал, что это дело.

Он привязал к хвосту старой кобылы длинную верёвку, а к верёвке — сноп, обмотанный рогожей, и на сноп надел рваную шапку. Потом сел на кобылу и поехал по выгону шагом, поперёк, в шестидесяти шагах от лучниц. Сноп волочился за кобылой по стерне, подпрыгивая.

— В сноп, — сказала Сарпи. — Кобыла — мимо. Кто попадёт в кобылу, пойдёт к Кужевату сама и скажет.

Первая стрела ушла за сноп, в землю. Вторая — перед ним. Третья вошла в рогожу. Кужеват поехал рысью. Стрелы стали ложиться сзади, все, одна за одной, потому что лучницы били туда, где сноп был, а не туда, где он будет.

— Вперёд, — сказала Сарпи. — Бейте туда, куда он едет. На полкорпуса вперёд. На рыси — на корпус.

Она выстрелила сама, не целясь долго, и стрела вошла в шапку. Шапка слетела. Кужеват оглянулся через плечо, увидел и засмеялся.

К полудню ни одна не попала в кобылу, и две трети стрел были в снопе. К вечеру Кужеват пустил кобылу вскачь, и в снопе оказалась половина. Лисьеглазая положила шесть из десяти на скаку и в этот раз сказала, что, если бы кобыла не виляла, было бы десять. Вдова, та, что с утками, положила семь и ничего не сказала, и Сарпи сделала её десятницей на другой день.

— А в бою как? — спросила одна из хуря́нлэхских сестёр. — Там же и конь, и человек. Попадёшь в коня — человек упадёт.

— Упадёт, — сказала Сарпи. — Встанет и пойдёт пешком. А коня ты убила.

— Так ведь чужой.

— Конь чужим не бывает, — сказал Кужеват с кобылы.

Он сказал это просто, как говорят, что вода мокрая. Сестра посмотрела на него, на кобылу, которая стояла, опустив голову, и дышала боками, и больше не спрашивала.

* * *

Бачман пришёл к ней на седьмой день, вечером, когда лучницы разошлись.

Она сидела у мастерской и оперяла стрелы. Перо было гусиное, серое, привезённое Вирясом с Мокши: эрзянские бабы, сказал он, щиплют гусей сколько помнят, и перья у них в мешках под лавкой, и Валдаева жена отдала три мешка и сказала, что это за лучниц. Сарпи расщепляла перо ножом, обрезала, клала три полупера на древко, у хвоста, ровно, и приматывала жилкой, смоченной во рту. Одна стрела — сто вдохов. Она не считала, сколько сделала за день. Считали мастерицы, которые брали у неё готовые.

Бачман сел рядом на бревно. Он был выше неё, хотя ему было тринадцать, и сидел, согнувшись, упершись локтями в колени.

— Возьми меня, — сказал он.

— Куда?

— Стрелы носить. Лучницам. Ты же будешь на стене. Кто-то должен стрелы носить.

Сарпи примотала перо и подняла стрелу на свет, посмотреть, ровно ли.

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Потому что тебе тринадцать.

— Ятману двенадцать, а он идёт.

— Ятман идёт с обозом считать. Он будет на этом берегу.

— Я тоже могу считать.

— Ты не можешь считать, — сказала Сарпи. — Ты можешь драться. Это другое.

Бачман помолчал. Сарпи думала, что он сейчас станет спорить, или кричать, или скажет про отца, про Бажута, который его не пустит. Он ничего не сказал. Он посидел, посмотрел, как она кладёт следующее перо, и встал.

— Ладно, — сказал он.

И ушёл. Ушёл ровно, не быстро, руки опустив, и не пнул по дороге ни одной щепки, хотя всегда пинал.

Сарпи смотрела ему в спину. Ей не понравилось, как он уходит. Так уходят люди, которые уже всё решили и спорить им больше не о чем. Она подумала, не сказать ли Валдаве, и не сказала, потому что говорить было нечего: мальчик попросил, ему отказали, он ушёл.

Виряс, который сидел у навеса со стариками и строгал древко, тоже смотрел Бачману в спину. Потом посмотрел на Сарпи.

— Уйдёт, — сказал он.

— Куда?

— Куда-нибудь, — сказал Виряс. — Я в тринадцать ушёл.

— И что?

— И ничего. Вернулся через год.

Он снова стал строгать. Сарпи ждала, скажет ли он ещё что-нибудь. Он не сказал. Он строгал ровно, снимая стружку длинную и тонкую, как волос, и за весь вечер больше не поднял головы. Когда стемнело, он встал, положил готовые древки рядом с её корзиной, пересчитал, сказал: «Сорок», и ушёл к эрзянскому концу. Сарпи досчитала за ним. Было сорок одно.

* * *

Ночью она достала тухью.

Тухья «девичья шапочка» лежала в коробе на дне, под зимним, завёрнутая в холст. Сарпи давно была не девкой, а тухью всё равно берегла, потому что это была мать. Она развернула холст и положила шапочку на колени, и в темноте было слышно, как тихо звякнуло серебро.

Она зажгла лучину и стала считать.

Серебро было пришито рядами по краю и по макушке. Монеты старые, дырявые, с чужими буквами, нашитые ещё матерью, и сороковая, слева, гнутая почти пополам и пришитая не как все, а тремя стежками через дырку и двумя сбоку. Сарпи вела пальцем от одной к другой и считала шёпотом. Сорок. Как было всегда.

Сорок серебряных. Это были деньги. На торгу в Таяпе за сорок можно было взять хлеба на месяц на десятерых, или коня, плохого, или двенадцать мер соли по нынешней цене. Там, куда они шли, всё будет стоить дороже. Город в осаде, город без подвоза. Там за одно серебро дадут, может, горсть.

Она подумала, что надо взять. Спороть половину, двадцать, и зашить в пояс. Или все. Хлеба на сотню лучниц не бывает лишнего, и палата палатой, а свой хлеб — свой.

Она подумала это и не шевельнулась.

Потом она взяла гнутую монету двумя пальцами и подержала. Монета была тёплая. Тринадцать лет назад эту монету пришили Ярмулу на рубаху, и в неё попала стрела, и монета её остановила и согнулась. Тринадцать лет назад Сарпи сама пришила её обратно, на место, и сказала себе, что больше её не отдаст.

Она положила тухлую в холст, завернула и убрала на дно короба, под зимнее.

Потом взяла лук, проверила тетиву и положила его на лавку. Положила рядом три колчана, уже полных. Подумала и положила сверху иглу, в тряпочке, с ниткой. Игла была старая, пятая, с отбитым ушком, в которое нитку продевать надо было с третьего раза. Эту иглу ей когда-то отдали, и она ею шила всё, что шила.

Лук, три колчана, игла. Больше она ничего не взяла.

Утром она увидела, что Пинерпи, которая спала в мастерской у печи, смотрит на короб. Потом Пинерпи посмотрела на лавку, где лежали лук и игла, и опять опустила глаза к своим полосам.

* * *

Последний короб Ирпике принесла в мастерскую сама, на девятый день к вечеру.

Она принесла его не на полку в кузне, а сюда, через весь двор, и поставила на лавку рядом с Сарпи. Короб был полный. Ирпике была в фартуке, прожжённом в двух местах, и руки у неё были чёрные до локтей, и пахло от неё горном.

Мастерицы замолчали.

Ирпике открыла крышку, поглядела внутрь. Потом посмотрела на Сарпи.

— Ты за ним посмотришь? — спросила она.

Сарпи подняла голову от стрелы.

— За кем?

Ирпике не ответила. Она стояла над коробом и смотрела в него, и лицо у неё было такое же, как всегда: как у человека, который прикидывает, хватит ли железа.

Сарпи не знала, про кого она. Про Атнера? Про Ятмана, который будет в обозе на этом берегу, а за ним и так посмотрит Курак? Про Бачмана? Она открыла рот спросить ещё раз и не спросила. Ирпике не повторяла вопросов. Это знали все.

Ирпике села на край лавки. Она стала вынимать из короба наконечники, десяток за десятком, связанные лыком, и выкладывать их на лавку в ряд. Мастерицы смотрели. Илемпи отложила рубаху. Пинерпи перестала резать.

Ирпике вынула все, что были в этом коробе, и потом велела Ятману, который стоял в дверях, чёрный, с пузырьём на плече, принести остальные короба из кузни. Он принёс, в три ходки. Ирпике выкладывала десятки из каждого короба на лавку, на пол, на подоконник, и считала вслух, как считал Атнер, негромко:

— Сто. Двести. Триста.

Мастерицы не двигались. За окном стемнело, и Илемпи зажгла светец.

— Тысяча девятьсот. Тысяча девятьсот девяносто.

Последний десяток она развязала и считала по одному.

— Девяносто один. Девяносто два.

На девяносто девятом она остановилась, пересчитала то, что лежало у неё на ладони, и сказала:

— Две тысячи.

На ладони у неё остался ещё один. Узкий, о четырёх гранях, с черешком, ещё тёмный, не отчищенный от окарины. Она повертела его, посмотрела на свет.

— Две тысячи и один, — сказала Ирпике. — Один лишний.

Она подумала и положила его сверху, на последний десяток.

— Пусть будет.

Глава 12. Покорность и огонь

Ахан. За Камой, сентябрь 1236 года

Шли в три смены коней.

Под седлом один, в поводу два. Меняли на дневке и на ночёвке. Конь, на котором ехали вчера, сегодня шёл порожняком и хватал на ходу траву. Кто менял реже, у того к третьей неделе садились спины. Таких Ахан видел в чужих десятках. В своём не держал.

Пыль стояла с восхода до темноты. Она шла от передних, и потому впереди ехал не тот, кто главнее, а тот, кому это нужно по делу. Ахану это было нужно по делу. Он ехал в полуверсте от головы сотни и смотрел, где трава, где вода, где чужой след.

Реки он называл вечером, на день вперёд. Приходил человек от сотника. Ахан говорил: завтра к полудню ручей, брод левее дороги, там дно твёрдое; к вечеру река в камышах, брод выше старой ивы, если ива стоит. Человек уходил. Сотник посылал двоих проверить.

Ахан видел, как они уезжают. Он больше не сердился. Он сердился на Яике, три месяца назад, и потом подумал: если бы он вёл сотню и при нём был старик, который помнит дорогу с прошлой жизни, он тоже послал бы двоих. Кто не посылает, тот теряет сотню один раз.

Ива стояла. Брод был выше ивы.

Реку, которую переходили в начале месяца, писец назвал вечером у огня. Слово было короткое, чужое, с двумя звуками, которых Ахан не выговаривал. Он повторил его и понял, что не удержит до утра. Писец записал. Река теперь была в доске у писца. Ахан её перешёл.

* * *

В обозе шли приданные.

Тюрки, кипчаки, взятые в прошлые годы и потому державшиеся тесно. Люди с гор, со своими сотниками. Аскизы, немного, десятка три. Руки у аскизов были хорошие, и к ним в обозе носили чинить всё, что ломалось.

Один аскиз сидел на земле у телеги и правил чужое стремя. Его никто не просил. Ахан проехал мимо.

* * *

Десяток у него с Яика был другой.

После брода сотник пересобрал десятки, где убыло и где прибыло. Тех, кто лучше держался в воде, он отдал передовой полусотне, остальных перемешал. У Ахана из прежних остались двое: молчун и тюрк. Остальных забрали. Взамен дали сына, двоих из соседнего айла «кочевья», что вышли с ним из дому, седельщика и братьев из сыновнего десятка, и Хархасу из третьего. Сотник сказал, что так проще: отец за сыном и так глядит, пусть глядит по делу. Ахан не спорил.

Теперь было так. Сын. Двое айльных — молодые, одному двадцать, другому девятнадцать, оба смеются на одно и то же. Седельщик, лет тридцати, который шил сёдла на всю сотню и за это ел первым. Братья, не родные, по отцу, молчаливые. Хархасу. Молчун, который стрелял медленно и попадал. И тюрк, который говорил с конями по-своему.

Девять и он.

Хархасу было тридцать три. Он был лучше всех с конями, как и тринадцать лет назад. К нему вели тех, кто бил задом и не давал ковать, и он брал их за хруп, говорил в ухо что-то и стоял, пока они не переставали дрожать. Он кашлял. Кашлял с той осени у большой воды,

когда стояли в дождь и жгли сырое. Кашель был короткий, в два раза. Он откашливался в сторону и вытирал рот.

— Не прошло? — спросил Ахан на третий день.

— Тринадцать лет не проходило, — сказал Хархасу. — Куда оно теперь пройдёт.

Он один в тысяче, кроме Кривого, помнил выкуп. Стол, доски, баранов, которых гнали мимо по одному. Его самого тогда отдали назад без счёта, сверху. Он об этом не говорил. Ахан один раз начал и остановился: понял, с кем говорит.

Хархасу сказал только:

— Кони были хорошие.

И больше ничего.

* * *

Городок на реке открыл ворота на восьмой день.

Он стоял на яру, над излучиной. Вал в два роста, по валу тын, ворота с башенкой. Над тыном крыши, дым из очагов, ровный, утренний. Передние сотни встали вокруг ещё ночью. Ахан с десятком стоял у дороги с полудня, смотрел, чтобы никто не ушёл по ней.

Утром ворота открылись.

Вышли старики. Семеро, в хороших кафтанах, без оружия. Первый нёс хлеб на полотенце, второй — чашу. За ними вели коней, двенадцать, в поводу, под сёдлами. Старики шли медленно, по мосту, потом по дороге, и остановились там, где им показали.

К ним выехал нойон тысячи с толмачом. Ахан видел издали. Старики кланялись. Толмач говорил. Нойон кивал. Потом нойон отъехал, и к старикам подъехал писец. Не хорезмиец, другой, из тысячи, с доской.

Писец считал.

Считали всё. Дворы, людей, коней, коров. Старики говорили числа, толмач повторял, писец записывал. Один старик, самый маленький, стал загибать пальцы и называть дворы по улицам, вслух, по-своему. Толмач не успевал. Писец поднял руку, и старик замолчал на полуслове, и стоял с загнутыми пальцами, пока не сказали говорить дальше.

Потом пошли внутрь.

Ахан вошёл с сотней к полудню. Улицы узкие, глиняные, между дворами плетни. Люди стояли у ворот своих дворов. Не прятались. Стояли и смотрели. Бабы держали детей. У одного двора старуха сидела на пороге и чистила лук, и не встала, когда проехали мимо.

Брали коней. Всех, что годились под седло. Брали мужиков в *хашар* «согнанные работники при войске»: с топорами, с лопатами, кто может работать. Их ставили у ворот, в ряд. Остальных оставляли. Хлеб брали половину, вторую оставляли, чтобы было кому жить. Писец записывал, сколько взяли и сколько оставили.

Мужики у ворот стояли с топорами. Им велели взять топоры, и они взяли. Их было сто сорок. Ахан сосчитал сам, по двое.

Никто не кричал. Это было хуже, чем если бы кричали. Ахан не думал так словами. Он думал, что в Хорезме кричали, а тут нет.

Перед уходом нойон велел поставить у ворот городка десятков из чужой сотни, чтобы никто из своих не лез во дворы. Ахан это видел. Он подумал, что нойон умный.

* * *

Второй городок стоял в полудне пути, выше по той же реке, и ворота не открыл.

Туда пришли к вечеру. Встали кругом. Послали толмача. Толмач подъехал к мосту, покричал. Со стены ему ответили, коротко. Толмач вернулся.

— Что сказали? — спросил кто-то в сотне.

— Сказали: уходите.

Ночью ставили кругом дозоры. Затемно сотник позвал Ахана.

— За городком брод, — сказал сотник. — Ниже. Ты его знаешь?

— Знаю. Там глубоко в середине, по стремя. Дно галька.

— Стань там с десятком. Кто пойдёт из городка к воде — не пускай.

— До какого часа?

— Пока не кончится.

Ахан взял десяток и поехал к броду кругом, по дальнему краю поля, чтобы со стены не видели. Брод был там, где он помнил. Тальник по обоим берегам, коса, вода светлая, быстрая. Он поставил десяток в тальнике, по двое, коней отвёл назад, в ложок. Отсюда видно было городок сзади: тын, задние ворота, маленькие, в одну телегу, и тропу от ворот к воде, по которой бабы ходили полоскать.

Стали ждать.

Рано утром задние ворота приоткрылись, и по тропе к воде спустилась баба с корзиной белья. Она шла, как ходят каждый день, не глядя под ноги. У косы она поставила корзину, выпрямилась и увидела в тальнике, в двадцати шагах, коня. Потом человека возле коня. Потом второго.

Она стояла и смотрела. Ахан смотрел на неё. Двое из десятка потянулись к налучам, и он поднял ладонь.

Баба взяла корзину и пошла назад, вверх по тропе, так же, не быстро, не оглядываясь. Бельё в корзине было мокрое сверху: она успела окунуть одну рубаху. Ворота за ней закрылись.

— Скажет, — сказал седельщик.

— Там и так знают, — сказал Ахан.

Приступ начался, когда солнце встало в две ладони.

Ахан его не видел. Видел дым. Сначала по той стороне, у главных ворот, поднялся дым низко, белый. Потом пошли огненные стрелы. Их видно было днём: тонкие чёрные черты с огоньком, дугой, через тын, на крыши. Крыши за тыном были соломенные. Задымила одна, потом три. Со стены били по тем, кто подходил, и было слышно даже отсюда, как бьют: сухо, часто, как град по войлоку.

— Там хашар, — сказал сын.

Ахан посмотрел. Со стороны главных ворот, от дороги, шли люди. Пешие, толпой, без щитов, с топорами. За ними — всадники. Те, вчерашние. Из первого городка. Их гнали к воротам второго, рубить.

Сын смотрел.

— Это те, — сказал он. — Вчерашние.

— Те, — сказал Ахан.

Больше он ничего не сказал, и сын не спрашивал. Они стояли в тальнике и смотрели, как толпа доходит до рва, как в неё бьют со стены, как она ложится, встаёт, идёт дальше, к воротам, как на воротах поднимаются топоры. Звука отсюда не было слышно. Был дым.

К полудню горело полгородка. Со стороны главных ворот пошли свои, верхами, в пролом. Ворота лежали.

Ахан смотрел на задние ворота.

* * *

Задние ворота открылись, когда стало смеркаться.

Выехали пятеро. Верхами, с копьями, в стёганных кафтанах. Не бежали, а ехали. Строем по двое и один сзади. Шли к броду, по тропе, где бабы полоскали.

— Ждать, — сказал Ахан.

Десяток ждал. Пятеро спустились к косе, пустили коней в воду. Передний был в шлеме. Ахан видел, как у шлема блестит, когда тот поворачивает голову. Тот, сзади, всё время оглядывался на городок.

Когда передние зашли в воду по брюхо, Ахан сказал:

— Бей.

Десяток ударил из тальника, с двадцати шагов.

Передний, в шлеме, выпал из седла в воду. Второй тоже. Конь второго поплыл дальше один, без седока, и вышел на этот берег прямо на Ахана, мокрый, с поводом по воде, и встал. Двое сзади развернулись и погнали назад, к воротам, и один упал на косе, и один ушёл за тын.

Пятый не повернул.

Он был посередине, в самой глубине, по стремя, и он не повернул, а пригнулся к шее и погнал вперёд, по броду, на эту сторону, прямо на тальник, туда, где били. Стрела вошла ему в плечо. Он не упал. Он проскочил мимо Хархасу, в двух шагах, так что Хархасу отшатнулся от коня, вылетел на берег и ушёл вверх по ложку, в сумерки, туда, где кони десятка.

— Там кони! — крикнул седельщик.

— Он не за конями, — сказал Ахан.

Сын уже был в седле. Ахан взял его коня за повод.

— Стой.

— Уйдёт!

— Уйдёт, — сказал Ахан.

— Он скажет своим.

— Скажет, — сказал Ахан. — Темно. Ложок, за ложком лес. Коня сломаешь. Слезай.

Сын посмотрел на него сверху. Потом слез.

Ахан держал повод чужого коня, который вышел к нему из воды. Конь дрожал. Хархасу подошёл, взял у него повод, положил руку коню на шею и стал говорить ему в ухо. Конь перестал дрожать.

Одного из тех, что упали в воду, вынесло на косу. Второго унесло. Братья сходили за тем, что на косе, и сняли с него шлем, и принесли. Шлем был хороший, болгарский, с острым верхом. Один из братьев взял его себе. Ахан кивнул.

Он думал про пятого. Про то, что тот не повернул. Он думал об этом без слов, так, как думают руками: посередине реки, по стремя, стрелы из тальника, а он не повернул. Он помнил старика на косе у Яика. Там тоже один не ушёл. Этот ушёл вперёд.

Где-то за ложком, в лесу, теперь ехал человек со стрелой в плече и нёс то, что видел. К утру он доедет до следующего села. Может, до двух.

Ахан сказал об этом сотнику ночью.

— Ушёл? — спросил сотник.

— Ушёл один.

— Куда?

— На закат.

Сотник посмотрел на него. Потом сказал писцу, и писец записал.

К ночи второй городок горел весь. Его жгли не нарочно. Он загорелся от стрел ещё днём, а тушить было некому.

* * *

Утром Ахан повёл колонну хашара к следующему броду.

Это были те, из первого городка. Сто сорок утром у ворот позавчера. Сегодня Ахан сосчитал сто двенадцать. Где остальные двадцать восемь, он не спрашивал. Он видел их вчера у рва.

Колонна шла по дороге, по четверо. У каждого топор. Им велели нести топоры, и они несли, на плече, как несут на работу. Спереди ехали двое из десятка, сзади Ахан с остальными. По бокам никого не ставили. Бежать было некуда: у каждого сзади, в первом городке, оставались двор и бабы.

Они шли и молчали.

Ахан слушал, как они идут. Ноги по пыли, у кого лапти, у кого босиком. Кашель. Больше ничего. Он ехал за ними полдня и за полдня не услышал ни одного слова.

К полудню дорога поднялась на гряде, и сверху стало видно назад. Второй городок ещё дымил. Дым стоял над яром, прямо, серый, и под ним было чёрное.

Хашар остановился. Не все. Передние шли, а задние остановились и смотрели назад, на дым, и передним пришлось встать тоже: между ними растянулось.

Двое из десятка оглянулись на Ахана.

Ахан ничего не сказал. Он подождал. Хашарские стояли и смотрели на дым. Их было сто двенадцать. Они не говорили друг с другом. Они стояли, опустив топоры с плеча на землю, и смотрели на дым, где был городок, в который их вчера водили рубить ворота.

Потом передний, мужик в рваной шапке, повернулся и пошёл дальше. За ним пошли остальные.

* * *

К вечеру дорога прошла через село.

Оно стояло в стороне, на ручье, дворов на тридцать, и над ним не было дыма. Ахан оставил колонну на дороге с братьями и седельщиком и въехал в село с остальными, шагом, посередине.

Село было целое. Ни одного горелого двора. Избы, плетни, погреба, овин. Двери открыты. В дверях не было дверей: их сняли с петель и унесли: дерево тёсаное. На жердях не было ни одной верёвки. В хлеву — чисто, навоз сухой сверху, сырой внутри. Ямы, где держат зерно, пустые, выметенные, прикрыты соломой, как прикрывают до весны.

Ахан слез и пошёл пешком.

Он делал то, что делал всегда в пустом жилье: считал очаги. Очаг не увезёшь. По очагам видно, сколько тут было домов, даже если домов нет. Он насчитал тридцать два.

Потом смотрел следы. Колея у ворот примята и уже поднялась наполовину. Следов много, в одну сторону, на закат, к лесу. Шли с телегами, со скотом, не бегом. Так уходят, когда есть старший и есть время.

— Когда? — спросил сын.

— Вчера, — сказал Ахан. — С утра.

— Их предупредили?

— Предупредили.

Сын посмотрел на него. Ахан видел, что он думает о том же: о пятом, со стрелой в плече, который вчера на закате ушёл вверх по ложку. От второго городка до этого села было полдня верхом. Человек со стрелой в плече доехал к ночи, если не упал. Село собралось до света и ушло.

Ахан не сказал этого. Сын тоже не сказал.

У третьего двора, в траве, лежала глиняная свистулька, детская, в виде птицы. Хархасу поднял её, повертел, дунул. Свистулька не свистнула: забилась землёй. Он положил её на плетень, туда, где её увидят, если вернутся.

Ночевали не в селе, а у дороги, с хашаром. Кто-то из айльных сказал, что в избах крыши, а в поле роса. Ахан не ответил и поехал к дороге, и десяток поехал за ним.

Ночью к огню пришёл Кривой.

Он ехал с обозом, который шёл на полдня сзади, и нагнал колонну затемно. Слез в два приёма, как всегда, и сел, и протянул руки к огню. Правое плечо у него было ниже левого, будто он всё время что-то нёс на нём.

— Впереди пусто, — сказал Кривой.

— Видел.

— Не это. Дальше. Передние говорят, три дня пути — всё пустое. Сёла ушли в лес. Скот угнали. Двери сняли. — Он пожевал губами. — Кто-то бежит впереди нас. Быстрее нас.

— Один ушёл вчера, — сказал Ахан. — У брода.

Кривой посмотрел на него.

— Один столько не обежит.

— Не обежит, — согласился Ахан. — Один скажет двоим. Двое — четверым.

Кривой подумал и кивнул. Потом сказал то, что говорил всегда, когда говорить больше было нечего:

— *Гэр хол байна* «Дом далеко».

— Далек, — сказал Ахан.

* * *

Сын подъехал к нему на ночёвке, когда кормили коней.

Он постоял рядом, держа в руках торбу с овсом. Потом повесил торбу коню на морду и сказал:

— Почему те не открыли?

Ахан смотрел, как конь ест.

— Первые открыли, — сказал сын. — Их не тронули. Вторые не открыли. Они же видели. Они же знали, что будет.

— Знали, — сказал Ахан.

— Тогда почему?

Ахан думал. Он думал долго, и сын ждал.

Он думал про пятого, посередине брода. Про старика у Яика. Про то, что в Хорезме тоже были такие, что открывали, и такие, что нет, и что он никогда не спрашивал почему. Он не знал. Он знал, как бывает. Он не знал почему.

— Не знаю, — сказал он.

Сын подождал.

— Ты сорок лет воюешь.

— Тридцать, — сказал Ахан. — Не знаю.

Сын снял торбу с коня, хотя конь ещё не доел, и повесил снова. Он хотел ещё что-то сказать и не сказал. Ушёл к своему огню, к двоим айльным.

Ахан остался у коня.

Ему казалось, что надо было сказать что-то другое. Он перебирал, что. Всё, что приходило, было со словом, которого он не любил. Он так ни одного и не сказал.

* * *

Огонь хашару разрешили развести у дороги, на отшибе, один на всех.

Они сидели вокруг, тесно, плечо в плечо. Ели своё: у кого что было с собой. Ахан с десятком стоял у своего огня, в тридцати шагах, и слышал, как они едят. Потом один встал и пошёл к нему.

Старик. Седой, без шапки, в чистой, но драной рубахе. Шёл медленно, руки держал на виду, пустые. Двое из десятка встали. Ахан сделал им знак рукой: сидеть.

Старик остановился за пять шагов и поклонился. Потом спросил по-кипчакски, на том языке, который в этих местах знали все, кто торговал:

— Куда нас ведут?

Он спросил не тихо и не громко. Так спрашивают дорогу.

Ахан посмотрел на него. Старик был как Кривой, лет за шестьдесят. Руки большие, в земле. На поясе, где у всех хашарских был топор, у него не было ничего: топор остался у огня.

— Рвы копать, — сказал Ахан.

Старик кивнул. Кивнул так, будто так и думал и только хотел, чтобы ему сказали вслух.

— Под Великий город? — спросил он.

— Не знаю, куда, — сказал Ахан. — Рвы.

Старик постоял ещё. Он смотрел не на Ахана, а на огонь у него за спиной, на котёл, на коней в темноте.

— У вас кони хорошие, — сказал он.

— Хорошие, — сказал Ахан.

Старик опять кивнул, повернулся и пошёл к своим. Сел в круг. Там его о чём-то спросили. Он ответил одним словом. Больше они не спрашивали.

Хархасу сидел у огня десятка и смотрел ему вслед. Потом закашлял, в два раза, отвернулся и вытер рот.

* * *

Вечером Ахан сел считать.

Сын. Двое айльных — два, три. Седельщик — четыре. Братья — пять, шесть. Хархасу — семь. Молчун — восемь. Тюрк — девять.

И он.

— Десять, — сказал Ахан. — Все живы.

Он сказал это вслух, и никто не обернулся. Все спали, кроме дозорных.

Конь того, что упал в воду вторым, стоял у коновязи с конями десятка. Хархасу его вычистил и сказал, что конь хороший, только пуганный, и что к утру отойдёт. Шлем с острым верхом лежал у брата под головой.

Сзади, за грядой, на закате, небо было не чёрное. Оно было рыжее, низко, в палец над краем земли. Второй городок догорал. Это было в дне пути, и всё равно было видно.

Ахан лёг спиной к зареву и стал думать про брод, который будет завтра, и про то, что там, говорят, дно вязкое и надо смотреть самому.

Глава 13. Мимо дуба

Ятман. Сёнь Юман — дорога на восток, сентябрь 1236 года

Буртасы пришли накануне, к вечеру, и встали за околицей, у брода, три сотни человек у костров.

Ятман никогда не видел столько людей в одном месте. Они пришли с Суры лесом, пешком, с луками за спиной, и у каждого на поясе висел колчан, а у некоторых два, и шли они не толпой, а цепочкой, по одному, так что цепочка выходила из леса у брода почти до темноты и всё не кончалась. Ирсай шёл первым. Он дошёл до кузни, сказал матери что-то коротко, и мать кивнула, и он ушёл обратно к своим.

Бачман провёл у буртасских костров весь вечер. Ятман видел его там дважды: один раз он сидел у огня с двумя парнями его лет, в валяных шапках, и смеялся, второй раз носил им воду от брода, два ведра, бегом. Валдава тоже видела. Она постояла у околицы, посмотрела и ушла в избу.

Ночью Ятман проснулся от того, что в *лаç* «летней кухне» горел огонь.

Он лежал в сенях, как всегда летом. Дверь в *лаç* была приоткрыта, и в щель было видно очаг, и у очага отца. Отец стоял у заднего столба. Потом поднял руки и снял с гвоздя личину.

Он держал её двумя руками, как держал Ятман тогда, в прошлом году, тайком, и смотрел на неё. Долго. Потом повернул к огню и провёл большим пальцем по ободку прорези, где золото. Потом наклонился и положил личину в перемётную суму, которая стояла у лавки. Положил на дно, под свёрнутый кафтан, и прижал сверху ладонью.

Не надел.

Мать сидела у стола. Ятман её сперва не увидел. Она сидела в тени, за светом, и смотрела, как отец укладывает суму. Когда он закрыл клапан и затянул ремень, она встала.

Она подошла к нему со спины и взялась за его пояс. Пояс был старый, кожаный, с медной пряжкой, и отец носил его, сколько Ятман помнил. Мать расстегнула пряжку, вытянула конец, перевязала пояс заново, ту же, узлом наперёд, как перевязывают мальчишке, которого отправляют с чужими в дальнюю дорогу. Затянула. Похлопала ладонью по узлу.

Потом отошла к столу и села обратно.

Отец постоял. Он не обернулся к ней и ничего не сказал. Он поднял голову и посмотрел на гвозди на заднем столбе. Там осталось: пустой гвоздь от личины. Грамота, углом вниз. Бирка Ятмана на шнурке. И на своём гвозде, повыше, ключ — бронзовый, позеленевший, от замка-барашка. Ключ от материнного дома в Хурёнвар: мать носила его на шее всю дорогу и первую зиму, а потом повесила сюда, и он висел здесь тринадцать лет. Никто его не снимал. Им нечего было отпирать.

Отец посмотрел на ключ и не снял.

Ятман лёг лицом к стене и лежал так, пока огонь в *лаç* не погас.

* * *

Утром на бирке оставалось одиннадцать зарубок. Ятман срезал одну, и осталось десять. Потом снял бирку с гвоздя и повесил на пояс, рядом с осиновой. Отец видел и ничего не сказал.

Строились у дуба Ахтупая.

Там, где его мерили каждое лето, где на коре шли зарубки лесенкой, тринадцать, и последние три почти рядом. Сто тридцать стояли на лугу у дуба в три ряда, не по росту, а по сёлам: ближе к дубу Сёнь Юман, за ними Хурёнлэх, с краю выселок. Все в новых белых рубахах с красным по вороту, и от этого луг был белый, как в *мйн чйк* «великое моление», которого Ятман никогда не видел.

У каждого было что у кого. Луки у сорока. Рогатины у двадцати. Топоры у всех. Щиты у немногих: сосновые, плоские, сколоченные за последнюю неделю, без обтяжки, и Гордята сказал, что обтянут в дороге, если найдут кожу. Шлемов было три, Салихов, Гордятин и отцов, и отец свой не надел, а привязал к седлу. Кольчуга была одна, Салихова, и Салих её тоже не надел, а вёз в мешке.

Обоз стоял отдельно, у дороги. Двенадцать телег. Курак, Урхас, ещё девять обозных и Ятман. Ятмана записали в обоз ещё на совете, и он не спорил. Он стоял у первой телеги с осиновой биркой в руках.

— Режь, — сказал Курак. — Каждого. Как проходят.

— Они ещё не проходят.

— Пройдут, — сказал Курак. — Вот сейчас.

* * *

Ярмула вынесли на лавке.

Лавку несли четверо, двое спереди, двое сзади, и поставили её у самого дуба, у корня, так, чтобы Ярмул сидел лицом к рядам. Он сидел, подложив под спину свёрнутый тулуп, в белой рубахе, в шапке, и руки держал на коленях. Лицо у него было серое. Он посмотрел на ряды долго, от края до края.

Потом начал.

Он называл каждого. Не только имя. Имя, и отца, и мать, и деда по отцу, если помнил, и из какого села пришёл род тринадцать лет назад, и кто в этом роду лёг тем летом. Он говорил тихо, и голос у него не шёл дальше второго ряда, и поэтому Тукташ стоял рядом и повторял за ним вслух, громко, слово в слово. Тот, кого назвали, выходил из ряда на шаг и стоял, пока его называли, и потом вставал обратно.

Ятман резал зарубку.

Он резал на каждого, кого назвали, и сперва резал быстро, а потом медленнее, потому что называли долго. На каждого уходило время, за которое можно было выпить ковш воды не торопясь. Ярмул не торопился. Никто его не торопил.

Он назвал Салиха. Ятман сорок раз слышал, как Салиха зовут, но не слышал никогда, как звали его отца. Ярмул назвал отца болгарским именем, и мать — суварским, из-под Таяпы, и деда. Салих вышел из ряда и стоял и слушал своё имя так, будто его называли не про него, а про кого-то, кого он знал давно и с кем давно не виделся.

Он назвал Гордята. Отца Гордята Ярмул не знал и сказал: русский конец, Городец, *Нежданан уййики* «Нежданин муж». Гордята вышел и засмеялся и встал обратно.

Он назвал Тимрука из Хуря́нлăх, девятнадцати лет, сына кузнечного подмастерья, который учился у матери, и Тимрук вышел из ряда так быстро, что чуть не упал, и все засмеялись, и Ярмул подождал, пока перестанут, и назвал его мать.

Он назвал Сарпи. Сарпи стояла в первом ряду со своими восемью. Ярмул назвал её по матери и сказал: из Суvara, улица у восточных ворот. Сарпи вышла на шаг. Потом назвал каждую из восьми. Лисьеглазую он назвал по имени, которого Ятман никогда не слышал, и та покраснела, и потом весь день её дразнили этим именем, и она отвечала только на прозвище.

Солнце поднялось над лесом. Потом встало над дубом. Тень от дуба сначала лежала на рядах, потом ушла под лавку, потом стала короткой, как лужа. Ряды стояли. Кто-то из выселковых переминался. Кто-то сел на траву, и его не подняли.

Ятман резал.

На бирке, на свободной грани, сначала была одна зарубка, потом десять, потом он перестал их видеть по одной и видел только ряд, который растёт. Пальцы у него заболели, как тогда,

в ночь бирок, и он не переложил нож в левую руку, потому что левой получалось криво, а здесь криво было нельзя.

Отца Ярмул назвал последним.

Он назвал его не Атнером. Он сказал: *Эрнепи ывăлĕ* «сын Эрнепи», из Хурăнвар, третий двор от ключа. Потом отца его, Мардана. Потом деда. Отец вышел из ряда. Он стоял не в ряду, а сбоку, у коня, и вышел оттуда на шаг, и стоял, опустив руки, пока Ярмул называл.

Потом Ярмул замолчал.

Ятман вырезал последнюю зарубку и посчитал. Считал он не по одной, а десятками, как учил отец: большим пальцем по ребру, десяток — перехват. Тринадцать перехватов.

— Сто тридцать, — сказал он.

Курак рядом кивнул.

Ярмул сидел на лавке, закрыв глаза. Было за полдень.

* * *

Тукташ принёс саблю, когда Ярмул кончил.

Он принёс её завернутой в холст. Развернул у дуба, на глазах у всех. Сабля была в ножнах, чёрных, с серебряным наконечником, и наконечник был надколот сбоку. Ятман видел эту саблю один раз в жизни: Тукташ показывал её мальчишкам, когда им было по восемь, и не дал подержать.

Тукташ подошёл к отцу и протянул саблю на обеих ладонях.

— Возьми, — сказал он. — Она твоего отца.

Отец посмотрел на саблю. Он не сразу взял. Ятман видел, как у него шевельнулись губы, как бывало, когда он считал, но что он считал сейчас, Ятман не знал.

— Ты её тринадцать лет держал, — сказал отец.

— Держал, — сказал Тукташ. — Теперь ты держи. Мне она ни к чему. Я называю.

Отец взял саблю и прицепил к поясу, к тому самому, который ночью перевязала мать. Прицепил неловко, со второго раза, потому что пояс был перевязан по-новому и пряжка стояла не там.

Мать стояла у кузни, в стороне, в фартуке. Она смотрела на отца, на саблю, на пояс. Потом повернулась и ушла в кузню. Через время оттуда стало слышно, как она раздувает горн.

* * *

Валдава искала Бачмана с утра.

Сперва по своему двору, потом по соседним. Потом по всему эрзянскому концу. Потом пошла к броду, где ночевали буртасы. Костры там уже не горели: буртасы ушли на рассвете, вперёд, и после них на лугу остались только чёрные круги и примятая трава. Ирсай ушёл с ними. Ирсай должен был ждать в полудне пути, у развилки.

Валдава вернулась к дубу, когда Ярмул уже кончил, и подошла к Бажуту, который стоял у околицы с остающимися, и сказала ему что-то. Бажут выслушал, посмотрел на дорогу, по которой ушли буртасы, потом на жену.

Он ничего не сказал. Он взял её за локоть и подержал.

Валдава подошла к Сарпи.

— С буртасами ушёл, — сказала она. — Больше некуда.

Сарпи кивнула.

— Найдёшь — верни.

Сарпи не ответила «верну». Она сказала:

— Найду.

Валдава посмотрела на неё и отошла.

Ятман слышал это и подумал, что Бачман ушёл, чтобы носить стрелы, и что это нечестно: ему, Ятману, велели ехать в обозе, и он поехал в обозе, а Бачману велели сидеть дома, и он не сидит. Он подумал это и разозлился, а потом подумал, что Бачман идёт пешком с буртасами, у которых он никому не нужен, и перестал злиться, и ему стало так, как бывает, когда тебя обогнали на дороге, а ты этого не хотел.

* * *

Трогались после полудня.

Остающиеся стояли у околицы. Тукташ впереди. За ним Бажут, Хурсә, Долгий, Кужеват с собакой. Старики из Хурәнләх. Бабы. Дети. Кёвёрке стоял среди детей и смотрел на Ятмана, и Ятман смотрел на него, и оба не махнули.

Ярмула унесли в избу на той же лавке. Он ничего больше не сказал.

Шәнкәрч стоял у дороги, у самого края, где начиналась колея. Он был выкликала, сорок лет выкликал на торгах, на свадьбах, на молениях, и голос у него был такой, что его слышали через реку. Когда отец сел на коня, а за ним встали сто тридцать, Шәнкәрч набрал воздуха и открыл рот.

Все знали, что сейчас будет. Когда уходят, поют. Тринадцать лет назад, когда уходили из старых мест, пели. На свадьбах поют, на проводах поют, в поле поют. Шәнкәрч открыл рот, чтобы начать, а за ним начали бы все.

Он постоял с открытым ртом.

Потом закрыл его.

Никто не запел. Никто не спросил почему. Сто тридцать пошли мимо дуба по колее, и за ними пошли телеги, и было слышно только, как скрипят оси и как стучат копыта отцова коня.

Шәнкәрч пошёл за последней телегой. На мән чўк нужен выкликала, а назад, после моления, он собирался вернуться со стариками из Хурәнләх, которые шли только до котлов. Он шёл и молчал всю дорогу, и это было так непривычно, что на второй день Курак спросил, не заболел ли он. Шәнкәрч сказал, что бережёт голос.

Ятман шёл у первой телеги. Он оглянулся один раз, когда поднялись на бугор за полем. Внизу стояло село, три кучки дворов на склоне, дуб у края поля, люди у околицы. Над кузней шёл дым. Мать работала.

* * *

Шли десять дней.

Дорога была та же, что в сенокос, когда они ехали к Волге с железом: лес, потом поля, потом сёла. Но в сенокос по ней шли три телеги, а теперь сто тридцать и двенадцать, и дорога казалась другой, узкой, и лес по бокам ближе.

Буртасов нагнали у развилки, в полудне пути, как и было сказано. Они сидели у дороги, три сотни, и ели. Ирсай встал навстречу. Отец спросил про Бачмана. Ирсай покачал головой: не видел, может, и с нами, у нас три сотни, я каждого в лицо не знаю. Отец посмотрел на буртасов, на их шапки, на то, как они сидят, и не стал искать.

На третий день у брода их ждали.

Два котла. Так и сказали: два котла. Лесное село на Цивиле, одно из шести, что осели тогда не на третьей реке, а по Суре и её притокам, прислало своих: девяносто человек, два котла, с двумя старшинами, с телегой, на которой везли сами котлы, чёрные, закопчённые, с цепями. Старшины подошли к отцу, поклонились, отец поклонился. Ятман смотрел на котлы.

Он завёл на бирке новую грань. Верхнюю, чистую. Провёл черту поперёк, у края, и над чертой вырезал два знака, маленьких, котлом: полукруг и черта над ним. И написал себе в голове: чужие котлы.

На пятый день пришли ещё три. С Кинера. Сто сорок человек. Эти шли уже два дня им навстречу, чтобы сойтись на дороге, и у них были свои буртасы, человек двадцать, и свой русский, рыжий, с топором, который по-суварски говорил лучше Гордяты. Ятман вырезал над чертой ещё три знака.

Навстречу, с востока, шли люди.

Они шли и в сенокос, когда Ятман ехал к Волге с железом, и он резал их тогда на четвёртой грани: со скотом над чертой, без скота под ней. Теперь их было больше. Они шли по той же дороге, по обочине, чтобы не мешать, с узлами, с тачками, с коровой на верёвке, и уступали дорогу, и останавливались смотреть. Мужики снимали шапки. Бабы держали детей за руки и смотрели на белые рубахи, на луки, на топоры. Один старик спросил у Гордяты, куда идут. Гордята показал на восток. Старик посмотрел туда, откуда сам шёл, потом на Гордяту и ничего не сказал, только покачал головой и пошёл дальше, на запад.

Ятман резал их на старой грани. Под чертой выходило втрое больше, чем над. Войско шло на восток, а они на запад, и по дороге выходило так, будто на одной колее две реки текут в разные стороны и не смешиваются.

Вечером отец подошёл к его телеге. Он делал так каждый вечер: подходил и спрашивал, сколько.

— Сколько?

— Своих сто тридцать, — сказал Ятман. — И чужих котлов пять.

Отец взял у него бирку. Посмотрел на верхнюю грань, на черту, на пять знаков над ней.

— Это что?

— Чужие котлы.

Отец повертел бирку.

— Это не чужие, — сказал он. — Это с Цивилия. И с Кинера. Они с нами тогда шли. Девятнадцать дней. Тринадцать лет назад.

Ятман молчал.

— Режь их на той же грани, — сказал отец. — Под своими. Без черты.

Он отдал бирку и пошёл к костру. Ятман сидел с биркой на коленях и смотрел на черту. Её уже нельзя было срезать: срежешь — будет видно, что срезал. Он подумал и вырезал рядом с чертой, поперёк, маленькую косую зарубку. У него это значило: неправильно. Потом стал резать котлы под своими.

* * *

Курак сидел на передке своей телеги и правил на бруске нож.

Отец подошёл к нему на шестой вечер и сел рядом. Ятман лежал под телегой на попоне и слышал.

— Был у твоей, — сказал отец. — В Тикаш хули. Третий двор от оврага, липа у ворот.

Курак перестал править.

— Жива?

— Жива. Похожа на тебя. Нос твой.

— Нос мой, — сказал Курак. — Она всегда говорила, что это мой нос у неё, а не наоборот. Помолчали.

— Муж её помер, — сказал отец. — Старший у неё у суварского бека. С *Сурла* «месяца серпа». Сейчас, наверное, уже в городе. Младший пойдёт с нами. С тикашскими. Она велела сказать: один там, другой с тобой. Сказала: он поймёт.

Курак долго ничего не говорил. Ятман видел снизу его ноги, свешенные с передка, и как одна нога качнулась и перестала.

— Понял, — сказал Курак.

Он снова стал править нож. Правил долго, дольше, чем надо, и Ятман слышал, как брусок ходит по железу: шорх, шорх, шорх.

* * *

Каждый вечер у костров говорили про одно.

Костров теперь было много. Со своими и с котлами, что пристали по дороге, их выходило больше двадцати, и они стояли вдоль дороги длинной цепочкой, и между ними ходили люди — к соседям, за огнём, за солью, просто так. Ятман ходил с ведром за водой и слушал.

Говорили: кто поведёт.

Говорили старшины. У каждого котла был свой старшина, и каждый старшина вечером шёл к соседнему котлу и садился, и говорил. Ятман слышал обрывки.

— Там решат. У котлов.

— Там волжских будет больше, чем нас. Волжские и решат.

— Волжские своего поставят. Тикашского.

— Тикашский старый.

— Старый, да свой.

— А Салиха?

— Салих булгарин.

— Он тринадцать лет у нас.

— Тринадцать лет у нас, а булгарин.

— Суварский бек, говорят, своих пришлёт. Скажет: идите под меня.

— Под бека не пойдём.

— А под кого пойдём?

Один раз у кинерского костра старшина, седой, с бородой клином, сказал громко, чтобы слышали у соседнего:

— А чего решать. Он нас тогда увёл. Пусть и теперь ведёт.

Ему ответили, что тогда он уводил, а теперь надо приводить, а это другое. Старшина с бородой клином сказал, что никакого не другое, что дорога та же, только в обратную сторону. Ему сказали, что в обратную сторону дорога всегда другая. Он плюнул в огонь и замолчал.

Ятман слушал и не понимал половины. Он понимал только, что это про отца, и что про отца говорят так, будто отец не сидит в двадцати шагах у своего костра, а где-то далеко.

Отец в этих спорах молчал. Он сидел у своего костра, с Салихом и Гордятой, и ел, и слушал, а когда к нему подходили и садились рядом, говорил про другое: про коней, про дорогу, про то, где завтра вода. Если его спрашивали прямо, он говорил:

— У котлов.

И больше ничего.

Однажды Ятман спросил его сам, вечером, когда отец пришёл за числом.

— Тебя выберут?

Отец посмотрел на него.

— Сколько сегодня?

— Своих сто тридцать. Цивильских девяносто. Кинерских сто сорок. И к вечеру подошли ещё два котла, с Аниша, девяносто. Четыреста пятьдесят. Без буртасов.

— Четыреста пятьдесят, — сказал отец. — Спи.

И пошёл. Ятман лежал и думал, что отец не ответил, и что это значит — да, или значит — нет, или значит, что он сам не знает. Он перебирал это до тех пор, пока не заснул, и во сне опять резал зарубки, и они не кончались.

* * *

На десятый день, к вечеру, дорога поднялась на последний холм.

Ятман шёл у первой телеги, как все дни. Ноги у него были стёрты, и он обмотал их лыком поверх тряпок, как учила Сарпи на жатве, и так было лучше. Он смотрел под ноги, на колею, и думал о том, что за холмом, говорят, Мян Юман, и что там дубрава, которую он видел в сенокос, маленькая, в сто сорок шагов поперёк.

Передние встали на гребне. Ятман услышал, что они замолчали, и поднял голову.

Он поднялся на гребень.

Внизу была долина. Широкая, пологая, с ручьём посередине, с дубравой на бугре справа, той самой, маленькой. Солнце садилось сзади, за спиной, и долина лежала в тени, синяя, и в этой синей долине горели костры.

Их было много. Они стояли по долине вдоль ручья, и по склонам, и у дубравы, и за дубравой, и на дальнем бугре за ручьём, и дальше, где уже не видно было ни бугров, ни ручья, а только огни. У каждого костра двигались люди. Над кострами висел дым, низко, одним пологом на всю долину, и сквозь дым огни мигали, как мигают звёзды, когда на них смотришь долго. Оттуда шёл звук. Не голоса, а один звук, ровный, как шум реки, когдаходишь к ней ночью.

Ятман стоял на гребне и смотрел.

Он начал считать по привычке. Раз, два, три — у ручья. Четыре, пять — у дубравы. Шесть, семь, восемь — на склоне. Потом огни у дальнего бугра слились в полосу, и он не мог понять, это один костёр или три. Он начал снова, с другого края. Потом увидел, что за дальним бугром тоже горит, и там не видно, сколько.

Рука у него сама полезла к поясу, где висела бирка. Он взял её, подержал.

Потом опустил и повесил обратно.

Он стоял и смотрел на огни, и не считал. Первый раз в жизни он смотрел на что-то, чего было много, и не считал.

Сзади подошла телега. Курак остановил коня рядом с ним, посмотрел вниз, в долину, долго, и ничего не сказал. Потом тронул вожжи, и телега пошла под гору, и Ятман пошёл за ней.

Глава 14. Мӑн чӹк «Великое моление»



Атнер. Мӑн Юман, священная дубрава, сентябрь 1236 года

Утром Ятман срезал на бирке последнюю зарубку.

Атнер видел это от своего костра. Мальчик сидел на передке Кураковой телеги, в тулупе поверх рубахи, потому что под утро у ручья было холодно, и держал на колене ту самую бирку, которую резал в *лаç* «летней кухне», последнюю, лишнюю, что вешал на гвоздь рядом с грамотой. Нож у него был наготове. Он долго смотрел на бирку, потом срезал, и стружка упала на оглоблю. Он провёл по ребру пальцем. Ребро было гладкое.

Срезать было нечего. Это был день.

Ятман поднял голову и посмотрел на отца. Атнер кивнул. Мальчик сунул бирку за пазуху и слез с телеги.

* * *

Котлы висели по всей поляне у дубравы, на рогатинах, вбитых в землю по две, с переключиной поверху, и на каждой переключине — цепь, и на каждой цепи — котёл.

Их вешали с вечера и всю ночь. Каждое село привезло свой, а кто и два, и три, на телегах, в соломе, и каждый котёл был не похож на соседний: медные, с заплатами, чугунные, чёрные, закопчённые до того, что нельзя было сказать, какого они цвета были сначала; большие, в которые можно посадить ребёнка, и маленькие, с отбитым ухом, привязанные к цепи ремнём. Под котлами вырыли ямки и положили хворост, но не зажигали. Огонь без Ишлея не зажигали.

У каждого котла стояли свои. Не по сотням, не по росту, не как ставят войско, а как стоят дома у своего двора: старики впереди, мужики за ними, парни сзади, и у каждого котла свой старшина, и за каждым старшиной своё село или свой род. Марийцы Чоткара стояли у своих котлов на той стороне ручья, девять котлов в ряд, все в белом, и Чоткар ходил между ними

в белом до пят, с посохом, — *карт*«жрец» при своей роше, а теперь и старшина над всеми своими, потому что других старшин они слушать не стали. Эрзя Валдая стояли у дубравы справа, восемь котлов, и у каждого котла торчали рогатины, прислонённые к рогатинам, и было не разобрать, где котловые, а где боевые. Буртасы Ирсае — выше по склону, двенадцать котлов, маленьких, на двадцать с небольшим едоков, и ставили их по два рядом.

Приволжские стояли ближе всех к дубраве. Их было больше всех. Двадцать котлов: Тикаш хули, Хулаш, Шӕхаль, Мӕн Юман, сёла под Таяпой, сёла по Волге, которых Атнер не знал по именам.

Шӕнкӕрч стоял посреди поляны, на пне.

Он молчал десять дней дороги. Теперь он выкликал. Голос у него был такой, что его слышали у последнего котла за ручьём и, наверное, в Тикаш хули. Он выкликал сёла по одному, и по его голосу старшина села выходил из-за своих, подходил к котлу и клал на него руку.

— Тикаш хули!

Седой старик с короткой волжской бородой вышел вперёд и положил руку на медный котёл, первый из двух тикашских. За ним стояли девяносто.

— Хулаш!

— Шӕхаль!

Старик с лавки у ворот, тот самый, в шапке, подошёл к чёрному котлу, опираясь на палку, и не положил руку, а постучал по котлу костяшкой, как стучат в дверь. Котёл отозвался.

— Сӕнӕ Юман! Хурӕнлӕх! Сырма пуӕ!

Атнер вышел к своим трём котлам. Их было три, как сёл. Он положил руку на средний. Котёл был холодный и мокрый от росы.

* * *

Ятман с Кураком считали котлы.

Атнер велел это ещё вечером. Не людей: людей сосчитать было нельзя, они всё время ходили, сходились и расходились, шли за водой, за дровами, к соседям. Котлы стояли на месте. У котла от сорока до шестидесяти едоков. Сосчитай котлы — будешь знать людей.

Мальчик шёл по поляне от котла к котлу, с осиновой биркой, и резал зарубку на каждый. Курак шёл рядом и держал его за плечо, чтобы не сбился, и говорил, какой котёл уже был, а какой нет, потому что на глаз они путались. Шли долго. Обошли ручей. Обошли дубраву. Вернулись.

Ятман подошёл к Атнеру.

— Шестьдесят четыре, — сказал он.

— Людей сколько?

— Если по пятьдесят — три тысячи двести. Курак говорит, у марийцев по пятьдесят три, у буртасов по двадцать шесть, но их вдвое котлов. У приволжских по пятьдесят семь. У нас по сорок три. Выходит всё равно три тысячи двести, если не считать обоз. Обоза триста без малого. Телег двести восемьдесят.

Атнер сам пересчитал в уме, по старшинам, по тому, что каждый говорил ему вчера у костра. Чоткаровы, Валдаевы, Ирсаевы. Приволжские. Лесные сёла с Суры и Цивилия. Три села. Салиховы конные. Гордятины русские. Он сложил.

— Ровно, — сказал он.

Ятман кивнул и отошёл, и Атнер видел, как он идёт к телеге и как у него горят уши.

* * *

Посланцы суварского бека приехали, когда тень от большого дуба дошла до середины поляны.

Их было двое, верхами, и с ними пятеро конных. Они приехали с восхода, от Волги, переправившись вчера у Хулаша, и остановились на краю поляны, у первых котлов, и не слезли. Старший был лет пятидесяти, сухой, в зелёном кафтане, с медной бляхой на поясе, какие носят люди бека. Младший — лет двадцати пяти, в белой рубахе с красным по вороту, как у всех здесь, и в стёганом кафтане поверх.

Они смотрели на котлы.

Атнер подошёл к ним пешком. Старший посмотрел на него сверху.

— Ты *Ылтӑн Пит* «Золотое лицо», — сказал он.

— Атнер.

— Атнер, — согласился старший. Он говорил по-суварски так, как говорят у Суvara, мягко, с булгарскими словами через одно. — Бек прислал. Бек слышал, что вы собираетесь. Бек велел сказать.

— Скажешь после моления, — сказал Атнер. — Сейчас не говорят.

Старший посмотрел на поляну, на Шӑнкӑрча на пне, на белые рубахи.

— После, — сказал он. — Я подожду.

Он слез с коня и отошёл к краю поляны, под берёзу, туда, где земля была не поляна, а межа, и сел там на свой войлок. Младший слез тоже. Он постоял, посмотрел на старшего, потом на котлы, и пошёл к хулашским. У хулашского котла его узнали: какая-то старуха вскрикнула, подошла и взяла его за лицо двумя руками. Младший стоял и не вырывался.

— Племянник мой, — сказала старуха всем, кто стоял рядом. — Сестрин. Из-под Суvara.

Старший под берёзой смотрел на это и ничего не сказал. Он достал из-за пазухи лепёшку, отломил и стал есть.

* * *

Ишлей назначил час, когда солнце встало над дубами.

Он ничего не сказал. Он просто вышел из дубравы, маленький, весь в белом, с руками, вымытыми до локтей и отставленными на отлёте, чтобы ничего не тронуть, и встал у большого дуба, у самого крайнего, старого, в три обхвата, с корнем, выпершим из земли, как колено. И поляна, которая шумела с ночи, стала затихать. Сначала у ближних котлов, потом у дальних, потом за ручьём, у мариийцев, и последними замолчали мальчишки, которых матери дёргали за рубахи.

Скот повели к ручью.

Быка вели двое, с двух сторон, на верёвках. Бык был белый, с рыжим пятном на лбу, от Мӑн Юман. За быком гнали баранов, много, от каждого села по одному или по два. Атнер не смотрел туда. Никто не смотрел. Смотрели на Ишлея. Какой-то мальчишка из тикашских повернулся к ручью, и старик за ним, не глядя, взял его за плечи и развернул обратно.

Коней никто не трогал.

Кони стояли у телег, за поляной, у коновязей, и ели сено. Мариийцы Чоткара и эрзя Валдая знали, что у сувар коня на моление не ведут, и не спрашивали. Атнер видел, как молодой мариец, приведший своего барана, посмотрел на коновязь, потом на Чоткара, и Чоткар что-то сказал ему тихо, и парень кивнул и больше туда не смотрел.

Под котлами зажгли огонь.

Ишлей зажгёт первый сам, от кремня, у большого дуба. От первого котла огонь понесли головнями ко второму, от второго к третьему, и так по поляне, по склону, за ручей, и Атнер видел, как огонь идёт по поляне цепочкой, от котла к котлу, пока не загорелись все шестьдесят четыре.

Потом был долгий час, когда вся поляна пахла одним: дымом, мясным наваром, мокрой травой у ручья.

Дым шёл низко. Утро было тихое, без ветра, и дым от шестидесяти четырёх костров поднимался не вверх, а стелился по поляне, между котлами, между людьми, сперва полосами, потом сплошь. Через полчаса Атнер от своих котлов не видел марийских за ручьём. Через час не видел буртасских на склоне. Видел свои три котла, ближние приволжские, большой дуб и Ишлея у дуба, маленького, белого, в сером дыму.

Котлов было больше, чем помнил кто-либо из стариков. Это Атнер слышал вчера и сегодня от каждого: столько котлов на *мйн чйк* «великое моление» не ставили никогда. Ставили семь, ставили двенадцать. Двадцать ставили один раз, при деде, когда был мор. Шестьдесят четыре — такого не было.

* * *

Слова держал старый *юмӓс* «сказитель, хранитель слов и имён» из Тикаш хули.

Тот самый, про которого старик у ключа сказал: свой плохой, сбивается. Он стоял у Ишлея за плечом, в белом, высокий и сутулый, и Ишлей начинал, а юмӓс подхватывал, и Ишлей замолкал, пока юмӓс называл роды. Роды называли по порядку, которого Атнер не понимал тринадцать лет назад и не понимал сейчас. Порядок был не по сёлам и не по богатству. Все его понимали, кроме него, Салиха, Гордяты и марийцев.

Юмӓс сбился на двенадцатом роде.

Он остановился. Поляна ждала. Было слышно котлы и треск хвороста. Юмӓс стоял и смотрел в дым, и губы у него шевелились. Ишлей не обернулся. Он сказал, не громко, одно слово, и юмӓс подхватил и пошёл дальше. Потом сбился ещё раз, на девятнадцатом. Ишлей опять сказал слово.

Заметили все, и никто не удивился: у каждого села свой юмӓс и у каждого юмӓса свой двенадцатый род.

Потом Ишлей встал лицом к дубу, и поляна встала лицом к дубу, и все сняли шапки.

Он говорил моление.

Он говорил ровно, не нараспев, как говорят старшему то, что старший и так знает, но что положено сказать. Голос у него был старый и тихий, и его слышали только у ближних котлов. Дальше не слышали. Дым глотал всё.

Тогда у ближних котлов стали повторять.

Атнер не видел, кто начал. Кто-то у тикашского котла, старик, повторил за Ишлеем вслух, громче, и за ним у соседнего котла повторили ещё громче, и от соседнего к следующему, и дальше, и слова Ишлея пошли по поляне от котла к котлу, как шёл огонь, как круг по воде от камня. Атнер стоял у своих котлов и слышал, как слова приходят к нему не от дуба, а сбоку, от хулашских, чужим голосом, и уходят дальше, к буртасам, и оттуда за ручей, к марийцам, которые повторяли их по-своему, с марийским выговором, и дальше.

Ишлей уже молчал у дуба, а у крайних котлов ещё говорили.

Слова шли по поляне долго. Потом вернулись. Атнер услышал их второй раз, с другой стороны, от Валдаевых котлов, у дубравы: эрзяне повторяли за марийцами, не понимая, и слова у них выходили кривые, как деревья, выросшие на ветру, но это были те же слова.

Потом все сказали вместе, и у ближних котлов, и у дальних, и под берёзой у межи, где сидел посланец бека, стало так тихо, что слышно было, как у ручья фыркает конь:

— *Брӓ чйк-кӓлӓ ханӓл ил, тытнӓй-тунине сырлах* «Прими доброе моление, будь милостив к начатому и сделанному».

Ишлей зачерпнул первую ложку из котла у большого дуба и бросил в огонь. Из второго плеснул на землю, к корню. Потом отступил.

У каждого котла старшина сделал то же. Шестьдесят четыре первых ложки в шестьдесят четыре огня. Шестьдесят четыре вторых — на землю.

Атнер плеснул из своего котла. Земля у корня была чёрная, влажная, в прелом листе, и *шйърне* «мясной отвар» ушла в неё сразу, без следа.

Ничего не случилось. Дубы стояли. Дым стоял. Старики сели есть.

Посланец бека под берёзой ел свою лепёшку. Он не подошёл к котлам. Мяса с моления он не брал. Когда один из тикашских понёс ему миску, он поднял ладонь, и тикашский постоял и унёс миску обратно. Никто не сказал про это ни слова.

* * *

Совет сели после каши, у большого дуба.

Садилась не все. Садилась старшины, по одному от котла, кругом, на землю, на войлок, кто что принёс. За каждым старшиной стояли его люди. Круг вышел большой, в тридцать шагов поперёк, а за кругом стояли все остальные, сколько поместилось на поляне, и те, кому не хватило места, влезли на телеги. Шянкярч сел на свой пень.

Атнер сел со своими. Без железа: личина лежала в перемётной суме у Кураковой телеги. В круг в железе не садятся.

Ишлей сел последним, у корня. Совет был не его.

Первым встал посланец бека.

Он вошёл в круг из-под берёзы, в зелёном кафтане, и остановился посередине, и поклонился на четыре стороны, как кланяются у Сувара. Потом сказал:

— Бек велел сказать. Бек стоит в Великом городе с *Авйи* «месяца овинов», со своими. Шесть тысяч. На восточной стене. Бек слышал, что правый берег собирается. Бек велел сказать: кто придёт, тех он поставит у себя, рядом со своими. Под свой знак. Хлеб будет от бека. — Он помолчал. — Бек сказал: я их помню. Пусть и они меня помнят.

Он поклонился и сел, не уходя из круга, на краю.

Поляна зашумела. Не громко, а так, как шумит у котлов, когда каша готова и все говорят сразу. Приволжские старшины переглядывались. У них у каждого кто-нибудь стоял у бека: сын, брат, племянник. Атнер видел, как тикашский старик слушает и кивает.

Потом тикашский встал.

— Бек нас помнит, — сказал он. — Это хорошо. — Он помолчал и посмотрел на Атнера. — А его кто поведёт? Я про нас говорю. Кто поведёт нас до бека?

Никто не ответил.

— Мне говорят: его, — сказал тикашский и показал подбородком на Атнера. — Его, который пришёл с биркой. — Он повернулся к кругу. — Он ушёл от столицы тринадцать лет назад. И увёл своих. Теперь он будет вести нас к столице?

Лесные молчали.

Атнер видел их лица. Старшины пяти лесных сёл, цивильские, кинерские, анишские, сидели и смотрели в землю перед собой, и им было неловко. Не за себя. За своего. Так бывает, когда при чужих говорят правду о твоём родиче, и ты знаешь, что это правда, и ты не можешь сказать, что нет.

Атнер сидел и молчал. Он знал, что если скажет хоть слово за себя, всё кончится. За себя не говорят.

Хулашский старшина сказал, что под беком стоять легче, у бека хлеб свой.

Тогда встал Чоткар.

Он встал не быстро, опираясь на посох, в белом до пят, седой. Он вышел на шаг в круг и постоял, глядя не на старшин, а на дуб.

— Мы не бековы, — сказал он.

Он говорил по-суварски медленно, и марийские слова лезли у него через одно.

— Мы не бековы. Мы не эмировы. Мы пришли не к беку. — Он повернулся к посланцу. — Прости. Ты хорошо сказал. Бек хороший. Мы пришли потому, что бирку привезли. — Он повернулся к кругу. — Я уже передавал ему. Скажу ещё, при всех. Мы помним, кто у Луки стоял.

Он помолчал.

— Туда придётся не только идти, — сказал Чоткар. — Туда придётся и уходить. Пусть ведёт тот, кто умеет уводить.

Он сел.

Валдай, эрзянский старшина, большой, рыжий, с руками, которые лежали на коленях, как две лопаты, ничего не сказал. Он только кивнул, два раза, медленно, так что все видели. За ним кивнули его восемь котлов.

Ирсай встал с корточек за спинами буртасских старшин. Он не был старшиной: старшиной у буртасов был Кулай, а Кулай остался. Но буртасы смотрели на него.

— Я за ним ходил, — сказал Ирсай. — Хожу.

И сел обратно на корточки.

Поляна молчала. Приволжские смотрели друг на друга. Тикашский стоял.

Потом встал старик из Шăхаль.

Он встал последним. Он сидел на краю круга, в шапке, на своём войлоке, упершись руками в колени, как сидел на лавке у ворот. Встал он долго, в два приёма, и никто не помогал ему, потому что видели, что он не хочет. Выпрямился. Посмотрел на тикашского. Потом на Атнера.

— Он ушёл, — сказал старик. — А мы остались.

Он сказал это так же, как говорил у ворот: как про погоду прошлого года.

— Тринадцать лет мы тут стояли. Без него. Нас писали и не писали, нас взыскивали и забывали. Мы остались. — Он помолчал. — Теперь он пришёл. Пусть и ведёт.

Он сел.

Тикашский постоял ещё. Потом посмотрел на свой медный котёл, на своих девяносто за ним. На племянника Куракова, высокого, с Кураковым носом, который стоял в первом ряду у тикашского котла. Потом на Атнера.

— Пусть ведёт, — сказал тикашский.

И сел.

* * *

Атнер встал.

Он не выходил на середину. Он встал у своих трёх котлов, там, где сидел, и заговорил оттуда, и голос у него был не громкий, но его слышали у круга, а дальше повторяли, как повторяли моление.

— Я поведу, — сказал он. — На трёх словах.

Он загнул палец.

— Стоять там, где скажу.

Загнул второй.

— Уходить, когда скажу.

Загнул третий.

— И тех, кого будем выводить, пускать вперёд себя.

Он опустил руку.

— Больше ничего.

Старшины сидели. Потом тикашский встал, повернулся и пошёл к своему котлу. Встал у котла, лицом к своим девяноста, и сказал им что-то, негромко, и Атнер понял по губам: три слова. Стоять. Уходить. Пускать вперёд. За тикашским встал хулашский и пошёл к своему. Потом Чоткар — через ручей, к марийцам. Потом Валдай. Потом все. Каждый старшина шёл к своему котлу и говорил своим три слова, и от каждого котла обратно к кругу приходило одно и то же, разными голосами, по-суварски, по-марийски, по-эрзянски, по-русски, одно слово.

— Пусть.

Посланец бека сидел на краю круга. Он всё слышал.

— Я скажу беку, — сказал он Атнеру. — Правый берег пришёл со своим старшим. Станете не под ним, а рядом.

— Рядом, — сказал Атнер.

Посланец поклонился ему, не на четыре стороны, а один раз, и пошёл к своему коню.

* * *

Солнце село за лесом, и из-за дубравы поднялась луна.

Она была полная, тяжёлая, рыжая от дыма, и встала над дубами так низко, что казалось, она зацепится за верхние сучья. Поляна была в котлах и в кострах, и в дыму, и луна светила сквозь дым, и от этого всё было не белое, а медное.

Старик из Шăхаль сидел у своего котла и смотрел на Атнера.

— Где твоё лицо? — спросил он.

Атнер не понял.

— Железное, — сказал старик. — Мы тебя в железе помним. Тринадцать лет назад ты через Шăхаль в железе шёл. Без железа тебя тут знают трое.

Он сказал это не громко, но у ближних котлов услышали и замолчали.

Атнер постоял. Потом пошёл к Кураковой телеге.

Курак сидел на передке. Ятман стоял рядом, у колеса, с биркой. Курак посмотрел на Атнера, на суму и ничего не сказал.

Атнер развязал суму. Достал из-под кафтана личину.

Она была холодная. Он не надевал её при людях тринадцать лет: с того утра, когда колонна уходила от Мăн Юман в лес и он шёл впереди, в железе, чтобы видели, за кем идти. Потом она висела на гвозде. Потом он надел её один раз, зимой, ночью, в пустом ла́с, чтобы проверить ремешок. Ремешок был цел.

Он надел личину.

Мир стал узкий, в две полосы. В полосах — котлы, огонь, дым, луна. Внутри пахло старым войлоком и его собственным дыханием. Он поправил ремешок на затылке. Потом вернулся к большому дубу и встал у огня, так, чтобы огонь был перед ним.

У крайних котлов не видели. Там, за ручьём, у марийцев, на склоне у бургасов, в дыму, просто горели костры и ходили люди. Но у ближних котлов увидели. Атнер видел в прорези, как у тикашского котла встал один старик. Потом рядом с ним двое. Потом у хулашского. Встали молча. Они не кричали и не кланялись. Они вставали, как встают, когда в избу входит старший.

Вставание пошло по поляне от котла к котлу, как шли слова. Дальше, куда не было видно личины, люди вставали, потому что встали соседи.

Ятман стоял у колеса Кураковой телеги и смотрел на человека у огня.

Атнер видел его в прорезь: мальчик стоял, открыв рот, и смотрел, и не узнавал. Он смотрел так, как смотрят на чужого, который пришёл в село ночью и встал у огня. Так он смотрел той зимой из темноты ла́с, когда Атнер стоял у холодного очага в железе.

— Утром — к Волге, — сказал Атнер. — Котлами.

Голос вышел из-под железа глухой, но свой.

Ятман закрыл рот. Курак положил ему руку на плечо.

* * *

Устраивали войско до полуночи.

Атнер сидел у огня с личиной на колене, и старшины подходили по одному. Сёла стоят своими котлами, под своими старшинами, как стояли здесь. Котёл — это кто ест вместе. Кто ест вместе, стоит вместе.

Сарпи — над лучницами. Их было уже сто двадцать: те, что с ней, и те, что пришли к котлам сами, с Волги, из-под Таяпы, из Мян Юман.

Виряс — над следопытами. Восемьдесят: эрзя, свои, двое марийцев, которые ходят по лесу тише всех.

Салих — над конными. Шестьдесят таяпинских и старики авангарда. С ним был Сувар, тот, чьё имя никто не выговаривал. Сувар подошёл и встал за Салихом и ничего не сказал.

Курак — над обозом и над переправой. Триста обозных, двести восемьдесят телег.

Ирсай пришёл последним. Он вёл за шиворот Бачмана.

Бачман шёл сам, не упирался, но Ирсай держал его крепко, как держат коня, который может рвануть. Мальчишка был в чужой буртасской шапке, в пыли по пояс.

— У моих нашёл, — сказал Ирсай. — Десять дней шёл. Мои думали, он чей-то. Он всем говорил, что чей-то.

Атнер посмотрел на Бачмана. Бачман смотрел в огонь.

Отправить его назад было не с кем. До третьей реки десять дней, и никого нельзя было снять. Бачман это понимал с самого начала, ещё когда уходил с буртасами в темноте.

— Сарпи, — сказал Атнер.

Сарпи подошла.

— Твой, — сказал Атнер. — Стрелы носить. Если побежит вперёд — свяжи.

Сарпи взяла Бачмана за плечо. Бачман посмотрел на неё и ничего не сказал. Он потом всю дорогу ходил за Вирясом, и Сарпи не держала его, но и не отпускала далеко.

— Ятман, — сказал Атнер.

Мальчик подошёл от телеги.

— Запиши его.

— Куда?

Атнер подумал. В трёх сёлах он не был: он ушёл тайком, его не называли у дуба. В буртасах он не был: он был чей-то. В котлах его не было.

— Одним сверх, — сказал Атнер.

Ятман достал бирку. Он подумал, куда резать, и вырезал сбоку, отдельно, одну короткую черту, в стороне от всех.

* * *

Утром войско тронулось к Волге.

Трогались котлами. Первыми пошли буртасы, потом марийцы, потом приволжские, потом лесные. Котлы сняли с рогатин ещё затемно, ещё тёплые, и увязали на телеги, и на поляне остались выжженные круги, шестьдесят четыре, чёрные, по всему лугу, от ручья до дубравы. Ишлей стоял у большого дуба и смотрел, как уходят. Он называл сёла, мимо которых проходил, но не громко, а себе, губами.

Посланцы бека уехали раньше всех, ещё до света.

Шанкярч со стариками из Хурялх пошёл назад, на запад. Он оглянулся на поляну один раз, открыл рот, закрыл и пошёл.

Атнер ехал у Кураковой телеги. Личина висела у него на поясе, на ремешке. Сабля отца висела с другой стороны. Пояс был перевязан по-новому, узлом наперёд, и он так и не перевязал его обратно.

Ятман сидел на передке, рядом с Кураком. Он держал на коленях осиновую бирку и смотрел на неё, и губы у него шевелились.

Атнер ехал рядом и слышал.

— Три тысячи двести, — шептал мальчик. — И один сверх.

Он помолчал, пересчитал по ребру, большим пальцем, десятками.

— Сходится, — сказал он.

Глава 15. Первая кровь

Атнер. Переправа Ултимера — левый берег, берёзовый лог, сентябрь 1236 года

Переправлялись три дня.

У Ултимера было три лодки, и большая брала тринадцать со скарбом, а налегке двадцать шесть. У марийцев Йўксерге лодок было сорок. Они пришли снизу, от своих пристаней, на второе утро, одна за другой, вдоль берега, и Йўксерге, седой, в мокрой по пояс рубахе, вылез из передней и пошёл к Ултимеру, и два старика постояли на песке друг против друга и поговорили на двух языках, и каждый понял. Потом Йўксерге махнул своим, и лодки пошли к бугру, где ждали котлы.

Плоты вязали тут же, из брёвен, которые приволжские приволокли из прибрежного леса. На плоты грузили телеги без колёс, мешки, котлы. Коней переводили вплавь, за лодками: в каждой лодке на корме сидел человек и держал повод, и конь плыл сзади, вытянув шею, фыркающая, и глаза у коня были белые. Ултимер велел заводить коней не с пристани, а ниже, с косы, где дно пологое, и заводить задом, и никто не спросил почему.

Атнер стоял на бугре и считал лодки.

Лодка отходит, лодка на середине, лодка у того берега, лодка идёт назад пустая. Четверть дня на ходку при тихой воде. Вода была тихая. Он переводил лодки в людей, людей в котлы, котлы в дни. Выходило три дня. Вышло три дня.

На второй вечер он поднялся на бугор выше, откуда видно было сразу и пристань, и косу, и вниз по реке, за лесом, над полями, увидел ещё один дым.

Этот был тонкий. Один. Прямо вверх, как нитка. Атнер узнал берёзовый мысок перед ним раньше, чем подумал. Хурянвар. Войско прошло мимо поворота в последний день пути, и он не свернул. День назад по берегу, если пойти.

Он смотрел на этот дым, пока не стемнело.

Салих стоял рядом и смотрел на него. Ничего не сказал.

Атнер не пошёл.

Обоз Курака оставался на правом берегу.

Двести восемьдесят телег Курак поставил на бугре над пристанью, кругом, колесо к колесу. Здесь оставался хлеб, запасные стрелы, котлы на обратную дорогу, холст на перевязки. Сюда будут возить раненых. Сюда будут приходиться те, кто придёт.

Ятман стоял у первой телеги, с осиновой биркой.

Атнер спустился к нему в последний вечер, когда за Волгу ушёл последний котёл лесных сёл и у пристани оставалась одна большая лодка, его.

— Считай, кто придёт, — сказал он. — Всех.

— С того берега?

— С того берега. Кто бы ни пришёл.

Ятман кивнул. Атнер постоял. Ему надо было сказать что-то ещё, и он не знал что, и мальчик ждал. Потом Атнер повернулся и пошёл к лодке, и Ултимер оттолкнулся шестом, и берег поехал назад. Атнер смотрел на бугор. Мальчик стоял у телеги, маленький, и не махал. Потом рядом встал Курак, и они стояли двое.

* * *

Левый берег был низкий.

Коса, тальник, за тальником луг, за лугом лес. За лесом начинались поля, и на полях стояли суслоны, несвежённые, почерневшие от дождей. Дальше — сёла. Суварские, поговору,

по тому, как стоят *лаç* «летние кухни» во дворах, по вороту на рубахах тех, кто встречался на дороге.

Сёла были пустые.

Не сожжённые. Пустые. В первом селе у дороги ворота стояли настежь, и во дворах ходили куры, и в одном дворе на плетне висела мокрая рубаха. Людей не было. Во втором селе был старик, один, на лавке, как в Шăхаль, и он сказал, что все ушли три дня назад, на полдень и на закат, кто куда, а он не пошёл, потому что ноги. Атнер спросил, что слышно. Старик показал на восток.

На востоке стояли дымы.

Не один, как над Хурăнвар, а много, по всему краю, низко, серыми столбами, и одни столбы были толще, другие тоньше, и один был чёрный. До них было далеко, день пути или два. Их было видно с любого бугра.

Но страшнее дымов были дороги.

По дорогам шли. Навстречу, с востока на запад, к Волге, к переправе, по обочине, с узлами, с телегами, с коровой на верёвке, с детьми на руках и за руку. Шли молча. Уступали дорогу войску и стояли, пока проходили котлы, и смотрели, и никто ничего не спрашивал. Один мужик снял шапку и держал её в руках, пока не прошли все марийцы. Баба с двумя детьми на телеге смотрела на белые рубахи и плакала без звука, и дети смотрели на неё и не понимали.

Атнер ехал впереди с Салихом и Ильдаром и считал этих людей, потому что не мог не считать. К полудню первого дня он насчитал больше трёхсот и перестал.

— Скажи им, где обоз, — сказал он Ильдару. — Пусть идут к Ултимеровой пристани. Там мальчик. Он запишет.

Ильдар кивнул и стал говорить встречным. Говорил он каждому, и каждый кивал, и шёл дальше, и Атнер не знал, дойдут ли.

* * *

Виряс нашёл след на второе утро.

Он пришёл из леса, где ходил с ночи со своими эрзянами, мокрый от росы, и сел на корточки у Атнерова коня.

— Конные, — сказал он. — Сотня. Может, чуть больше. Идут на полдень, по ручью, вниз. Гонят людей. Пешком. Много. Двести, я думаю. Связаны.

— Откуда люди?

— Наши, — сказал Виряс. — Суварские. Я видел, что они бросили на стоянке. Лапти по-вашему плетёные, ворот по-вашему шитый. Одну ленточку. — Он разжал кулак. На ладони лежала полоска холста, с красным, суварским, узором. — Шли ночью. Встали на рассвете. Сейчас опять пошли.

— Далеко?

— Час ходу. Там, впереди, ручей уходит в лог. Березовый. Они пойдут логом, потому что по верху бурелом.

Атнер слез с коня.

— Покажи, — сказал он.

* * *

Лог был в полверсты длиной.

Атнер лёг на край, в траву, между берёзами, рядом с Вирясом, и смотрел вниз. Ручей шёл по дну, извилисто, и посередине лога разливался, и там был брод — топкий, с осокой, с

чёрной грязью по берегам. Склоны были в рост человека, где круче, где положе, и по склонам стояли берёзы, редко, белые, с жёлтым листом. Дно лога шло к полудню. Там, в дальнем конце, лог открывался в поле.

Людей ещё не было видно.

Атнер смотрел и считал. Не людей: места. Сколько встанет на правом склоне, сколько на левом. Где брод. Где выход. Где вход.

Потом повернулся к старшинам, которые лежали сзади в траве: Ирсай, Чоткар, Салих, Виряс, Сарпи. Он говорил тихо. Он показывал рукой.

— Бургасы — на правый склон. От входа до брода. Ирсай, твои. — Ирсай кивнул. — Марийцы и лучницы — на левый. Напротив. Чоткар, твои стрелки, сколько есть. Сарпи — все. — Сарпи кивнула. — Салих, конные — за выходом. В поле, за кустами, чтоб не видели. Когда передние встанут у брода — перекрыть выход. Никого не выпускать в поле. — Салих кивнул. — Виряс. Твои — у входа. За ними, когда все войдут, валите берёзы. Поперёк. Чтобы назад некуда.

— А люди? — спросила Сарпи. — Связанные. Они посередине.

— Лечь, — сказал Атнер. — Крикнем им: лечь. По-нашему. Они поймут.

Он помолчал.

— По людям, — сказал он. — Коней не бить. Слышали?

Все слышали. Ирсай посмотрел на своих бургасов, которые лежали за ним, и сказал им что-то по-своему. Бургасы кивнули, как кивают, когда говорят то, что и так знают.

— Бьём по счёту, — сказал Атнер. — Я считаю. На «три» — все.

Сарпи посмотрела на него, и он увидел, что она помнит Суру.

— Остальные где? — спросил Салих.

— Остальные стоят за лесом, в версте, — сказал Атнер. — Три тысячи в лог не влезут. Тут шестьсот. Хватит.

Расходились ползком.

* * *

Они показались, когда солнце встало над логом.

Сначала двое конных, передние. Ехали шагом, по ручью, по воде, и конь переднего пил на ходу. Всадник был в кожаном панцире, в шапке с меховой опушкой, с луком в налuche у бедра. За ним второй. Они ехали и смотрели не вверх, на склоны, а вперёд, на брод, — как смотрит человек, который знает дорогу и которому надоело.

За ними шла колонна.

Люди шли по двое, связанные за шеи одной длинной верёвкой: верёвка шла от шеи к шее, и от каждой шеи вниз, к рукам, связанным впереди. Шли медленно, в ногу, потому что не в ногу нельзя: дёрнет всех. Мужики, бабы, подростки. Детей постарше вели в той же связке. Малых несли на руках те, у кого руки были связаны не слишком туго. Одна баба несла ребёнка на спине, в платке.

По бокам колонны ехали конные. Через каждые десять шагов — один, с одной стороны и с другой. У одного был аркан на луке, свёрнутый. У другого копьё. Они ехали, как едут пастухи за стадом: устало, ссутулившись, не глядя.

Атнер лежал за берёзой на правом краю и смотрел.

Он считал конных. Двадцать. Сорок. Шестьдесят. Сзади — ещё, плотнее, с заводными конями. Восемьдесят. Сто. Сто десять. Сзади шёл десяток вьючных, с узлами, с котлами, и за ними, последними, трое конных.

Колонна втянулась в лог вся.

Передние двое въехали в брод. Конь переднего увяз в грязи по колено, дёрнулся, вылез. Второй конь встал и не пошёл. Всадник стал бить его плетью. Колонна сзади сжалась, остановилась. Люди в связке встали, и верёвка провисла между шеями.

Один из конных у колонны, молодой, в рыжей шапке, повернул голову на звук.

Звук был сзади, у входа. Треск. Потом второй. Потом третий, долгий, с шумом ветвей, как падает большое дерево.

Молодой в рыжей шапке смотрел туда, откуда треск. Потом поднял голову на склон. Прямо на берёзу, за которой лежал Атнер.

Атнер встал.

— *Выртър!* «Ложитесь!» — крикнул он вниз, в лог, во весь голос.

И по обоим склонам, от входа до брода, шестьсот голосов крикнули за ним то же слово.

Люди в связке упали.

Упали все сразу, как будто их подрубили, — не поняв, не подумав, потому что крикнули на их языке, — и верёвка дёрнула тех, кто не успел, и они упали тоже. Конные остались одни, над лежащими, верхом, и на миг все сто повернули головы вверх, на склоны.

— *Пёрре* «раз», — сказал Атнер. — *Иккё* «два».

Он видел в эту одну длинную минуту всё: молодого в рыжей шапке, который тянулся к налучу; переднего у брода, который бросил плеть; бабу с ребёнком на спине, которая легла на бок, спиной к склону, закрывая ребёнка собой.

— *Виççё* «три».

Стрелы ушли с обоих склонов разом.

Звук был, как рвут полотно. Один звук, сверху вниз, с двух сторон.

* * *

Потом Атнер уже не видел всего.

Он видел свой кусок. Склон под собой, берёзы, дно лога, ручей. Видел, как молодой в рыжей шапке падает с коня, и как конь его, без седока, идёт боком вдоль колонны, переступая через лежащих, осторожно, не наступая ни на кого. Видел, как у брода передний разворачивает коня назад, в колонну, и как колонна конных сзади сбивается в кучу, и кони кружатся на месте, и в эту кучу бьют второй раз.

Он считал второй раз.

— *Пёрре. Иккё. Виççё* «Раз. Два. Три».

Конные поняли, куда. Они пошли назад, к входу, всей кучей, по ручью, по лежащим людям, — и Атнер видел, как кони шарахаются от лежащих и не идут по ним, и всадники бьют их, а кони не идут, — и дошли до входа, и там был завал. Берёзы лежали поперёк, три, четыре, с листвою, и за ними стояли эрзяне Вирияса с рогатинами, и из-за берёз били те, у кого были луки.

Конные повернули вперёд, к выходу, к полю.

Там был брод, и в броду грязь, и за бродом, на выходе, из-за кустов выехали Салиховы шестьдесят, в ряд, копытами вперёд, и встали. Салих ехал в середине, в кольчуге, которую надел утром впервые за тринадцать лет. Он не кричал. Он поднял копьё.

Конные встали между завалом и Салихом, в середине лога, над лежащими людьми, и сверху в них били с двух сторон.

Тогда они полезли на склоны.

Кони лезли плохо. Склон был крутой, в рост человека, с корнями, и кони срывались, и всадники прыгали с коней и лезли сами, с саблями, пешком. Полезли на правый склон, к буртасам, где было ближе.

Атнер вынул саблю.

Он вынул её в первый раз за тринадцать лет. Сабля отца вышла из ножен легко, с сухим порохом, как выходит из травы уж. Он почувствовал в руке её вес, забытый, и рука вспомнила сама.

Первым на край выбрался человек без шапки, с короткой бородой, в стёганом кафтане, с саблей. Он выбрался на колени, поднялся, и перед ним были бургасы, в трёх шагах, с луками, и он замахнулся на ближнего. Ирсай выстрелил ему в грудь с двух шагов. Человек сел.

Ещё двое вылезли левее. Атнер пошёл на них.

Он не помнил потом, как это было. Помнил, что один был быстрый и молодой, а второй старый и медленный, и что старый ударил первым, и Атнер принял удар на саблю, у рукояти, и рука онемела до локтя, и что потом старого уже не было, а молодой стоял перед ним и смотрел на него, и лицо у молодого было совсем мальчишеское, в пыли, с потёками на щеках. Потом молодого ударил сбоку топором Гордята, и он упал.

— Не стой, — сказал Гордята. — Не твоё это — стоять.

* * *

Тимрук побежал вниз раньше, чем было нужно.

Атнер видел это краем глаза, от своей берёзы. Хуря́нлăхские лежали на правом склоне ниже бургасов, ближе к колонне, и Тимрук лежал с краю. Когда конные полезли на склон, Тимрук вскочил и побежал вниз, к лежащим людям, с ножом в руке. Резать верёвки. Атнер не велел резать верёвки, пока бьют сверху. Тимрук, может быть, не слышал. Может быть, слышал.

Он добежал до колонны и упал на колени у крайних, у бабы с ребёнком на спине, и стал пилить верёвку у неё на шее. Верёвка была толстая, сыромятная. Он пилил.

Конный, который пытался уйти вдоль ручья, увидел его и выстрелил с седла, не целясь долго.

Тимрук сел. Сел на пятки, с ножом в руке, как садятся отдохнуть после долгой работы. Потом лёг на бок, рядом с бабой, и баба смотрела на него, не двигаясь.

Атнер видел это с пятидесяти шагов.

Он ничего не мог сделать. Он стоял с саблей на краю склона и смотрел, как Тимрук лежит на боку у ручья, с ножом в руке, и верёвка у бабы на шее перепилена наполовину.

— *Пёрре*«раз», — сказал он. Голос у него был чужой. — *Иккё. Виççё*«Два. Три».

Третий раз стрелы ушли разом.

* * *

Два десятка ушли.

Они ушли по ручью, вниз, через брод, туда, где стояли Салиховы, — но не на копы, а вбок, по самой топи, в осоку, где кони Салиха не шли, потому что вязли. Кони конных тоже вязли, но конные гнали их плетью, и кони шли, по брюхо в грязи, и вышли на ту сторону, в кусты, и в поле, и ушли. Салих послал за ними десятерых. Десятеро вернулись к полудню и сказали, что те ушли на полдень, к лесу, и что там дальше не видно.

Остальные остались в логу.

Атнер спустился на дно, когда наверху перестали стрелять.

Люди в связке лежали. Они лежали, пока им не сказали вставать, и потом ещё лежали, потому что не верили. Гордята и русские шли вдоль колонны и резали верёвки. Эрзяне шли с другого конца. Люди вставали по одному, держась за шеи, где натёрло, и садились на землю и не шли никуда.

Сарпи с лучницами спустилась с левого склона. Она шла вдоль колонны и спрашивала у каждой бабы одно: откуда. Бабы отвечали. Под Суваром. Под Суваром. Из-за Черемшана. Под Суваром.

Одна сказала: из Сувара. С улицы у восточных ворот.

Сарпи остановилась и посмотрела на неё. Потом присела рядом, на корточки, и стала развязывать ей руки. Развязывала долго: узел затянулся, мокрый. Руки у Сарпи были спокойные.

Баба с ребёнком на спине сидела у ручья, рядом с Тимруком. Верёвка у неё на шее была перепилена наполовину. Никто её ещё не разрезал до конца. Атнер нагнулся и разрезал своим ножом. Баба не смотрела на него. Она смотрела на Тимрука.

— Он пилил, — сказала она. — Он мне пилил.

Атнер ничего не ответил. Он взял Тимрука за плечо и перевернул на спину. Лицо у Тимрука было спокойное и молодое, как утром, когда он улыбался всему, на что смотрел. Атнер закрыл ему глаза. Потом укрыл его лицо полый рубахи.

* * *

Своих убитых было двенадцать.

Трое буртасов. Двое марийцев. Четверо приволжских из тех, кто стоял у входа за завалом, когда конные шли на прорыв. Одна лучница, молодая, из-под Таяпы, которую Атнер не знал по имени. Один эрзянин из Виряса. И Тимрук.

Тимрук был первый из трёх сёл.

Их похоронили в том же логоу, наверху, на правом склоне, под берёзами, всех двенадцать рядом, головой на закат. Копали лопатами, которые нашлись у обозных при котлах, и рогатинами, и руками. Тикашский старшина сказал над ямой слова — те самые, на которых у котлов сбивался их *юмй* «сказитель», оставшийся дома, — и не сбился ни разу. Ирсай сказал своё. Чоткар своё. Эрзяне своё.

Салих подошёл к берёзе над тем местом, где лежал Тимрук, и достал нож. Спросил у хуря́нлāхских, какой знак у Тимрукова рода. Ему показали на земле, палкой. Салих вырезал знак на берёзе, на белой коре, на высоте груди. Он резал долго и неровно, потому что береста на берёзе рвётся. Когда кончил, отступил, посмотрел и вырезал ещё одну черту, внизу, короткую: метку человека.

Потом вытер нож о штаны и пошёл к своим конным.

* * *

Освобождённых было около двухсот. Атнер сосчитал сам: сто девяносто семь. Из них шестьдесят один ребёнок.

Коней у конных взяли восемьдесят четыре. Кони стояли в логоу, между берёзами, сбившись в табун, и дрожали, и эрзяне обходили их, говорили с ними, брали за поводья. Стрелой ранило только двух: буртасы и марийцы били по людям. Салих сам вынул из коней стрелы и замазал раны глиной с ручья. Салих ходил между конями и выбирал себе. Ему было нужно: на вылазки, в город.

Раненый лежал у ручья, ниже брода.

Молодой, лет семнадцати, кипчак по лицу, по косам. Стрела у него была в бедре, и он лежал на боку в осоке и держался за ногу обеими руками, и смотрел на них. Он не просил. Он смотрел.

Салих подъехал к нему и посмотрел сверху.

— Добить? — спросил он Атнера.

Он спросил не зло и не весело. Так спрашивают про дело, которое надо сделать.

Атнер смотрел на парня. Парень смотрел на Атнера.

Атнер думал про другое. Про то, что тринадцать лет назад, на большой реке, у стола из серых досок, таких же мальчишек в рыжих шапках отпускали, пересчитав, как овец, и они уходили на восток, а одного из них, пленного, до того почти месяц держали при обозе, и он пас их коней. Про то, что этот ушёл бы сегодня с двумя десятками, если бы не стрела. Про то, что двое из тех двух десятков уже доехали до своих и сказали.

— Перевяжите, — сказал он. — Оставьте у дороги. С водой.

Никто не спорил. Эрзянин из Виряса присел над парнем, вынул стрелу, как вынимают из дерева, и перетянул бедро полосой холста, из тех, что резала Пинерпи. Парень не кричал. Его отнесли наверх, к дороге, и положили под куст, и рядом поставили баклагу с водой, и оставили. Парень смотрел им вслед.

* * *

Вечером собрали старшин.

— Два десятка ушли, — сказал Атнер. — Они скажут. Завтра там будут знать, что с Волги идут.

— Сколько? — спросил Чоткар.

— Шестьсот. Они видели шестьсот. Про остальных не знают.

— Узнают, — сказал Ильдар.

— Узнают, — согласился Атнер. — Поэтому дорогой больше не пойдём.

Он повернулся к Ильдару.

— Ты говорил, есть тропа. Сторожевая. Лесом, с севера, к северным бродам.

— Была, — сказал Ильдар. — Тринадцать лет назад. Я по ней ходил каждую весну. Если не заросла — пройдем. Если заросла — прорубим.

— Поведёшь.

— Поведу.

Потом о людях. Сто девяносто семь освобождённых, шестьдесят один ребёнок. С собой к городу их взять нельзя. Оставить здесь — нельзя.

— Назад, — сказал Атнер. — К переправе. К Ултимеровой пристани. Там обоз. Там Курак и мальчик.

— Кто поведёт?

— Восемь охотников от котлов. Которые знают дорогу. И Ильдаровых встречных на дороге пусть подбирают.

Старшины назвали по одному от котлов, кто пойдёт. Назвали восьмерых. Эти восемь встали и пошли к освобождённым, и стали их поднимать, и считать, и Атнер слышал, как они считают, каждый по-своему, и путаются, и начинают сначала.

Баба с ребёнком на спине встала последней. Она подошла к берёзе над ямой, постояла, глядя на знак, который вырезал Салих. Потом пошла за остальными.

* * *

Ночью Атнер сидел у огня один.

Он считал. Не хотел, а считал, потому что так делал всегда, когда был неспокоен, и губы сами шевелились.

Утром их было три тысячи двести. Двенадцать лежат на склоне под берёзами. Сто девяносто семь идут назад, к Волге, с восемью охотниками. Восемь охотников вернутся. Восемьдесят четыре коня. Два десятка чужих ушли. Один чужой лежит под кустом у дороги с баклагой.

— Три тысячи сто восемьдесят восемь, — сказал он вслух. — Было три тысячи двести.

Он услышал себя. Голос был ровный, как всегда. Такой, каким он говорил «ровно», когда сходилась. Он сидел и слушал этот голос, будто это сказал кто-то другой, сидящий у того же огня, с той же саблей на коленях, с тем же поясом, перевязанным по-новому, узлом наперёд.

Сабля лежала у него на коленях. Он её ещё не вытирал.

Он вытер её полой, насухо, до блеска, и вложил в ножны.

Ч

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.